

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
Институт удмуртской филологии,  
финно-угроведения и журналистики  
Кафедра журналистики  
Институт языка и литературы  
Кафедра теории языка, межкультурной коммуникации  
и зарубежной литературы

## **ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА**

Хрестоматия



Ижевск  
2023

УДК 821.111.09+070(075.8)  
ББК 83.3 (4Вел4)-8,4я73+76.00я73  
Л642

*Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ*

**Рецензент:** канд. филол. наук, ст. науч. сотрудник, отд. филологических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН В.Л. Шибанов

**Составители:** Ефремов Д.А., Лаврентьев А.И.

Л642 Литература и журналистика : хрестоматия / сост. Д.А. Ефремов, А.И. Лаврентьев. – Ижевск : Удмуртский университет, 2023. – 202 с.

В хрестоматии представлены произведения, созданные выдающимися английскими поэтами, публицистами и писателями, находящиеся на стыке литературного и журналистского творчества и относящиеся к жанрам философской публицистики, памфлета, биографического, путевого, исследовательского и проблемного очерка.

Хрестоматия предназначена для использования в процессе преподавания дисциплин «Литература и журналистика» и «История зарубежной журналистики».

УДК 821.111.09+070(075.8)  
ББК 83.3 (4Вел4)-8,4я73+76.00я73

© Д.А. Ефремов, А.И. Лаврентьев, сост., 2023  
© ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет», 2023

## Содержание

Введение	5
<b>Джон Мильтон</b> Ареопагитика	8
Вопросы и задания для самостоятельной работы	56
<b>Даниэль Дефо</b> Опыт о проектах	57
Чистокровный англичанин	63
Простейший способ разделаться с диссидентами	67
<b>Джонатан Свифт</b> Размышления о палке для метлы	84
Скромное предложение	86
Вопросы и задания для самостоятельной работы	97
<b>Джозеф Аддисон, Ричард Стил</b> Из журнала «Зритель»	98
<b>Ричард Стил</b>	
История удивительных приключений Александра	
Селькирка, потерпевшего кораблекрушение моряка	139
Вопросы и задания для самостоятельной работы	143
<b>Чарлз Диккенс</b> Шустрые черепахи	144
О том, что недопустимо	152
К рабочим людям	157
Некоторое сомнение во всемогуществе денег	162
<b>Уильям Теккерей</b> Парижские письма	168
«Польский бал» в изложении одной светской дамы	176
Как из казни устраивают зрелище	181
Вопросы и задания для самостоятельной работы	199
Темы для семинарских занятий	200
Список использованной литературы	202



## Введение

В профессиональной подготовке современного журналиста большую роль играет умение работать с текстом, со словесным оформлением журналистского материала. Подводя итоги международного культурного форума «Журналистика как литература» в Санкт-Петербургском университете в ноябре 2019 года, одна из ее организаторов Екатерина Выровцева замечает: «Оказывается, что и событие можно придумать, а таких большинство, если вспомнить, что информационным поводом для будущего журналистского текста чаще всего становится пресс-релиз, то есть приготовленное событие. И когда корреспонденты всех изданий собираются на такое событие, а затем должны в условиях жесточайшей конкуренции его описать так, чтобы удержать аудиторию, то конкурентоспособным оказывается, смею предположить, более литературный текст»<sup>1</sup>. Другой современный журналист начинает биографический очерк о писателях, которые начинали свою творческую деятельность с журналистики, со следующего утверждения: «Не секрет, что для того, чтобы быть журналистом, нужно иметь творческий склад ума. От того, как именно тыстроишь предложение, какие слова используешь, зависит, как читатели воспримут материал»<sup>2</sup>. Очевидно, что для формирования таких умений целесообразнее всего использовать журналистские тексты, которые были созданы известными писателями, чьи литературные таланты выдержали проверку времени. Тем более, что в профессии писателя и журналиста прослеживается много общего. В.Г. Короленко в статье «Знаменитость конца века» (1898), посвященной делу А. Дрейфуса, отмечал совпадение важнейших социальных функций художественной литературы и журналистики (и та и другая формирует общественное сознание), а также на единство механизмов реализации этих функций – через внушение<sup>3</sup>. По мнению В.Г. Короленко, литератору так же, как и публицисту, необходимо иметь ясную общественную позицию, четкую мировоззренческую концепцию, он должен «не просто отражать, а отражать, отрицая или благословляя». В то же время определенность социальной позиции, последовательная «точка зрения» отнюдь не означает односторонности подходов, не противоречит объективности и жизненной правде, а, напротив, помогает преодолеть узость и стихийность отражения. Не отстраненный объективизм, а гуманистически ценностно-ориентированная картина мира позволя-

ет приблизиться к истине. По словам В.Г. Короленко, только хорошо выбранная точка зрения дает верную перспективу, в которой «тени и света располагаются правдиво». Поэтому многие знаменитые писатели сочетали в своем творчестве сугубо литературную деятельность с журналистской.

В учебном пособии представлены произведения, созданные выдающимися английскими поэтами, публицистами и писателями, в рамках их журналистской деятельности. Оно построено по хронологическому принципу, в его состав включены наиболее значимые для мировой журналистики произведения английских литераторов: программный трактат Джона Мильтона (1608–1674) «Ареопагитика», посвященный свободе слова, памфлеты писателей-просветителей Даниэля Дефо (1660–1731) и Джонатана Свифта, примеры сатирической журналистики Джозефа Аддисона (1672–1719) и Ричарда Стила (1672–1729), очерк Ричарда Стила о прототипе Робинзона Крузо Александре Селькирке, а также образцы журналистской деятельности классиков английской реалистической литературы – сатирические очерки Чарльза Диккенса (1812–1870) и путевые очерки Уильяма Теккерея (1811–1863). Учебное пособие снабжено темами для обсуждения на семинарских занятиях конкретных аспектов жанровых разновидностей произведений, находящихся на стыке литературного и журналистского творчества, они касаются значимости образного содержания текста, особенностей различных типов очерковой прозы, философских эссе и других видов философской публицистики, форм сатирической журналистики.

Учебное пособие предназначено для использования в процессе преподавания дисциплин «Литература и журналистика» и «История зарубежной журналистики» для формирования компетенций: ОПК-3: способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; ОПК-4: способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития мировой литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности; ПК-2: способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для масс-медиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графиче-

ской) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах.

### **Примечания**

<sup>1</sup> Выровцева Е. «Журналистика как литература». Дискуссия после дискуссии // Режим доступа: <https://jrnlst.ru/discussion>

<sup>2</sup> Полехин Г. Писатели-журналисты // Режим доступа: <http://www.websmi.by/2021/12/pisатели-zhurnalisti>

<sup>3</sup> Короленко В. Г. Знаменитость конца века // Короленко В.Г. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т.6. С. 54.

**Джон Мильтон**

**Ареопагитика**

**(Речь к английскому парламенту о свободе печати)<sup>1</sup>**

Высокий парламент! Те, кто обращают свою речь к сословиям и правителям государства или, не имея такой возможности, как частные люди письменно высказываются о том, что, по их мнению, может со-действовать общему благу, приступая к столь важному делу, испыты-вают, мне думается, в глубине души своей немало колебаний и волнений, одни — сомневаясь в успехе, другие — боясь осуждения; одни — надеясь, другие — веря в то, что они хотят сказать. И мною, быть мо-жет, в другое время могло бы овладеть каждое из этих настроений, смотря по предмету, которого я касался; да и теперь, вероятно, с пер-вых же слов моих обнаружилось бы, какое настроение владеет мною всего сильнее, если бы самая попытка этой речи, начатой при таких условиях, и мысль о тех, к кому она обращена, не возбудили сил души моей для чувства, которое гораздо более желанно, чем обычно в предисловии.

Хотя я и поведал об этом, не дожидаясь ничьих вопросов, но я не заслужу упрека, ибо это чувство есть не что иное, как восторжен-ный привет всем желающим споспешествовать свободе своей родины — свободе, которой верным свидетельством, если не трофеем, явится вся эта речь.

Без сомнения, свобода, на которую мы можем надеяться, состо-ит не в том, чтобы в государстве не было никаких обид — в нашем мире ждать этого нельзя, — но когда жалобы с готовностью выслуши-ваются, тщательно разбираются и быстро удовлетворяются, тогда до-стигнут высший предел гражданской свободы, какого только могут желать рассудительные люди. Если же я в настоящее время самой ре-чью своей свидетельствую о том, что мы уже в значительной степени приблизились к такому положению, если мы избавились от бедствий тирании и суеверия, заложенного в наших принципах, превзойдя му-жеством эпоху римского возрождения, то приписать это следует прежде всего, как и подобает, могучей помощи Господа, нашего изба-вителя, а затем — вашему верному руководительству и вашей неустрашимой мудрости, лорды и общины Англии! Хвалебные речи в честь хороших людей и доблестных правителей не служат пред лицом

Господа умалением Его славы; но если бы я только теперь стал хвалить вас, после такого блестящего успеха ваших славных деяний и после того, как государство так долго было обязано вашей неустанной доблести, то меня по справедливости следовало бы причислить к тем, кто слишком поздно и нерадиво воздает вам хвалу.

Существуют, однако, три главных условия, без которых всякую похвалу следует считать только вежливостью и лестью: во-первых, если хвалят только то, что действительно достойно похвалы; во-вторых, если приводятся самые правдоподобные доказательства, что тем, кого хвалят, действительно присущи приписываемые им качества; наконец, если тот, кто хвалит, может доказать, что он не льстит, а действительно убежден в своих словах. Два первых условия я уже выполнил ранее, противодействуя человеку<sup>2</sup>, который своей пошлой и зловредной похвалой пытался уменьшить ваши заслуги; последнее же, касающееся моего личного оправдания в том, что я не льстил тем, кого превозносил, осталось как раз для настоящего случая. Ибо тот, кто открыто возвеличивает деяния, совершенные столь славно, и не боится так же открыто заявлять, что можно совершить еще лучшие дела, дает вам лучшее доказательство своей правдивости и искреннейшей готовности с надеждой положиться на вашу деятельность. Его высшая похвала — не лесть, и его чистосердечнейшее мнение — своего рода похвала; вот почему хотя я и стану утверждать и доказывать, что для истины, науки и государства было бы лучше, если бы один изданный вами закон, который я назыву, был отменен, однако это только еще более будет способствовать блеску вашего мягкого и справедливого управления, так как благодаря этому частные люди проникнутся уверенностью, что вам гораздо приятнее открыто выраженное мнение, чем, бывало, другим государственным людям открытая лесть. И люди поймут тогда, какова разница между великодушием трехлетнего парламента и ревнивым высокомерием прелатов и государственных сановников, недавних узурпаторов власти, так как убедятся, что вы, среди ваших побед и успехов, гораздо милостивее принимаете возражения против вотированного вами закона, чем другие правительства, оставившие по себе лишь память постыдного тщеславия роскоши, терпели малейшее выражение недовольства каким-нибудь поспешным их указом.

Если я, лорды и общины, до такой степени полагаюсь на вашу доброту, гражданское величие и благородство, что решаюсь прямо

противоречить изданному вами закону, то от упреков в неопытности или дерзости я легко могу защитить себя, раз все поймут, насколько, по моему мнению, вам более подходит подражать старой элегантно-гуманности Греции, чем варварской гордости гуннского и норвежского тщеславия. Именно из тех времен, тонкой мудрости и знаниям которых мы обязаны тем, что мы уже не готы и не ютландцы, я могу указать человека, обратившегося из своего частного жилища с письменным посланием к афинскому ареопагу с целью убедить его изменить существовавшую тогда демократическую форму правления<sup>3</sup>. В те дни людям, занимавшимся наукой мудрости и красноречия, оказывалась не только в их собственной стране, но и в других землях такая честь, что города и села слушали их охотно и с большим уважением, если они публично обращались с каким-либо увещанием к государству. Так, Дион из Прусы — иностранный оратор и частный человек — давал совет родосцам по поводу одного ранее изданного ими закона; я мог бы привести множество и других примеров, но в этом нет надобности. Однако если их жизнь, посвященная всецело научным занятиям, а также их естественные дарования — которые, к счастью, далеко не из худших при 52° северной широты — препятствуют мне считать себя равным кому-либо из обладателей подобных преимуществ, то я хотел бы все же, чтобы меня считали не настолько ниже их, насколько вы превосходите большинство тех, кто выслушивал их советы. Величайшее же доказательство вашего действительного превосходства над ними, лорды и общины, верьте, будет налицо, если ваше благоразумие услышит и последует голосу разума — откуда бы он ни исходил, — и вы под влиянием его отмените изданный вами закон столь же охотно, как любой из законов, изданных вашими предшественниками.

Если вы решите таким образом — а сомневаться в этом было бы оскорблением для вас, — то я не вижу причин, которые бы воспрепятствовали мне прямо указать вам подходящий случай для проявления как свойственной вам в высокой степени любви к истине, так и прямоты вашего суждения, беспристрастного и к вам самим; для этого вам нужно только пересмотреть изданный вами закон о печати, согласно которому «ни одна книга, памфлет или газета отныне не могут быть напечатаны иначе, как после предварительного просмотра и одобрения лиц или, по крайней мере, одного из лиц, для того назначенных». Той части закона, которая справедливо сохраняет за каждым

право на его рукопись, а также заботится о бедных, я не касаюсь; желаю только, чтобы эта часть не послужила предлогом к обиде и преследованию честных и трудолюбивых людей, не нарушивших ни одной из этих статей. Что же касается статей о книжной цензуре, которую мы считали умершей вместе с прелатами и ее братьями, великопостным и брачным разрешениями<sup>4</sup>, то по поводу этой части закона я постараюсь вам показать, при помощи своих рассуждений, следующее: во-первых, что изобретателями этого закона были люди, которых вы бы неохотно приняли в свою среду; во-вторых, как вообще следует относиться к чтению, каковы бы ни были книги; и, в-третьих, что этот закон ничуть не поможет уничтожению соблазнительных, революционных и клеветнических книг, для чего он главным образом и был издан. Наконец, этот закон прежде всего отнимет энергию у всех ученых и послужит тормозом истины, не только потому, что лишит упражнения и притупит наши способности по отношению к имеющимся уже знаниям, но и потому, что он задержит и урежет возможность дальнейших открытий, как в духовной, так и в светской областях.

Я не отрицаю того, что для церкви и государства в высшей степени важно бдительным оком следить за поведением книг, так же как и за поведением людей, и в случае надобности задерживать их, заключать в темницу и подвергать строжайшему суду как преступников; ибо книги — не мертвые совершенно вещи, а существа, содержащие в себе семена жизни, столь же деятельные, как та душа, порождением которой они являются; мало того, они сохраняют в себе, как в фиале, чистейшую энергию и экстракт того живого разума, который их произвел. Я знаю, что они столь же живучи и плодовиты, как баснословные зубы дракона, и что, будучи рассеяны повсюду, они могут воспрянуть в виде вооруженных людей. Тем не менее если не соблюдать здесь осторожности, то убить хорошую книгу значит почти то же самое, что убить человека: кто убивает человека, убивает разумное существо, подобие Божие; тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает образ Божий как бы в зародыше. Многие люди своей жизнью только обременяют землю; хорошая же книга — драгоценный жизненный сок творческого духа, набальзамированный и сохраненный как сокровище для грядущих поколений. Поистине никакое время не может восстановить жизни — да в этом, быть может, и нет большой потери — и длинный ряд веков часто не в состоянии пополнить потери отвергнутой истины, утрата которой приносит

ущерб целым народам. Поэтому мы должны быть осторожны, преследуя живые труды общественных деятелей, уничтожая созревшую жизнь человека, накопленную и сбереженную в книгах; в противном случае мы можем совершить своего рода убийство, иногда подвергнуть мученичеству; если же дело идет о всей печати, — то своего рода поголовному избиению, которое не ограничивается просто умерщвлением жизни, но поражает самую квинтэссенцию, самое дыхание разума, поражает бессмертие раньше жизни. Однако чтобы меня не обвинили в том, что я, нападая на цензуру, оправдываю излишнюю вольность, то я не отказываюсь сослаться на историю, поскольку это будет нужно для выяснения мер, принимавшихся в славных древних государствах против литературных беспорядков до того времени, пока проект о Цензуре не выполз из инквизиции, не был подхвачен нашими прелатами и не захватил некоторых из наших пресвитеров.

В Афинах, всегда изобиловавших книгами и талантами более, чем остальная Греция, я нахожу только два рода сочинений, за которыми власти считали нужным иметь наблюдение: это — во-первых, сочинения богохульные и безбожные, а во-вторых, клеветнические. Так, по постановлению ареопага, были сожжены книги Протагора и сам он изгнан из пределов государства за сочинение, которое начиналось с заявления, что он не знает, «существуют боги или нет». В предупреждение же клеветы было запрещено прямо называть кого-либо по имени, как это обыкновенно делалось в старой комедии, откуда и можно догадываться, как афиняне относились к клеветническим сочинениям. По свидетельству Цицерона, этого, как показали результаты, было вполне достаточно, чтобы укротить безумные головы атеистов и положить конец открытым оскорблениям. За другими сектами и мнениями, хотя они и вели к чувственным излишествам и отрицанию Божественного Промысла, греки совершенно не следили. Поэтому мы нигде не читаем, чтобы эпикурейцы, или распущенная школа киренцев, или бесстыдство циников когда-либо преследовались законом. Равным образом нигде не упоминается, чтобы не разрешалось чтение комедий старых авторов, хотя представления их и были запрещены. Хорошо также известно, что Платон рекомендовал чтение Аристофана, самого несдержанного из них, своему царственному ученику Дионисию, — и это тем более извинительно, что св. Златоуст, как говорят, весьма внимательно изучал по ночам этого автора и обладал

искусством очищать его грубое вдохновение в пламенном стиле своей проповеди.

Что касается другого главного государства Греции — Лакедемона, то замечательно, как глубоко Ликург, его законодатель, был предан изящной литературе: он первый вывез из Ионии рассеянные по разным местам сочинения Гомера и послал критского поэта Талета своими сладкозвучными песнями и одами подготовить спартанцев и смягчить их грубость, дабы лучше насадить между ними закон и гражданственность. Изумительно поэтому, как мало спартанцы любили муз и книги, думая только о войне. Они совсем не нуждались в цензуре книг, так как не ценили ничего, кроме своих собственных лаконических изречений, и малейшего повода было достаточно, чтобы они изгнали из своего государства Архилоха<sup>5</sup>, — быть может, за то, что его стихотворения были написаны в гораздо более возвышенном тоне, чем их собственные солдатские баллады и круговые песни; если же они поступили так вследствие непристойности его стихотворений, — то ведь в этом отношении сами они не отличались особенной осторожностью; напротив, они были крайне распушены в своих взаимных отношениях, почему Еврипид и утверждает в «Андромахе», что ни одна из их женщин не была целомудренной.

Из сказанного в достаточной степени ясно, какой род книг был запрещен у греков. Римляне, которые также в течение многих веков воспитывались исключительно для суровой военной жизни, во многом походя в данном отношении на лакедемонян, мало что знали из наук, кроме того, чему их учили в области религии и права двенадцать таблиц и коллегия жрецов, вместе с авгурами и фламинами. Они были до того несведущи в других науках, что когда Карнеад и Критолай со стоиком Диогеном, явившись в Рим в качестве послов, воспользовались случаем и попробовали познакомить римлян со своей философией, то были заподозрены в желании развратить народ даже таким человеком, как Катон-цензор, который убеждал сенат отпустить их немедленно обратно и на будущее время изгонять из Италии всех подобных им аттических болтунов<sup>6</sup>. Однако Сципион и другие благороднейшие сенаторы воспротивились его древней сабинской нетерпимости и отдали им должную дань почета и изумления; да и сам цензор под старость отдался изучению того, что ранее возбуждало в нем подозрение. В это же время Невий и Плавт, первые латинские комические поэты, наполнили город сценами, заимствованными у Менандра

и Филимона. Тогда возникла мысль о том, какие следует принимать меры против клеветнических книг и их авторов; так, Невий за свое необузданное перо скоро был заключен в темницу, откуда освобожден трибунами лишь после отречения от своих слов; мы читаем также, что при Августе пасквили сжигались, а их авторы подвергались наказанию.

Такая же строгость применялась, без сомнения, в тех случаях, когда сочинения заключали в себе что-либо нечестивое по отношению к богам, чтимым городом. Исключая этих двух случаев, власти совершенно не заботились о том, что творилось в мире книг. Вот почему Лукреций безнаказанно проповедовал свой эпикуреизм в стихах к Меммию и даже удостоился чести быть вторично изданным Цицероном, этим великим отцом отечества, хотя последний и оспаривал его взгляды в своих собственных сочинениях. Равным образом не встречали никакого препятствия ни сатирическая едкость, ни грубая откровенность Луцилия, Катуллы или Флакка. А что касается политических взглядов, то история Тита Ливия, хотя в ней и превозносилась партия Помпея, не была запрещена Октавием-цезарем, принадлежавшим к другой партии. Если же он изгнал старика Назона за легкомысленные поэмы его юности, то здесь была какая-то тайная причина, лишь прикрытая государственными соображениями; во всяком случае его сочинения не были ни изъяты из обращения, ни запрещены. В дальнейшем мы встречаемся в Римской империи почти исключительно с тиранией; не следует поэтому изумляться, если подвергались запрещению не столько дурные, сколько хорошие книги. Мне думается, однако, что я уже достаточно останавливался на том, сочинение каких книг считалось у древних наказуемым; во всем же остальном была полная свобода слова.

Около этого времени императоры стали христианами, но я не нахожу, чтобы они поступали в данном отношении строже, чем было ранее. Книги тех, которых считали великими еретиками, рассматривались, опровергались и осуждались Вселенскими соборами и лишь тогда, по повелению императора, запрещались или сжигались. Что же касается сочинений языческих авторов, то, если они не были направлены явно против христианства — как, например, сочинения Порфирия и Прокла, — против них нельзя указать ни одного запрещения, вплоть до 400 г., когда на Карфагенском соборе было запрещено самим епископам читать книги язычников, еретические же сочинения

читать было дозволено, между тем как ранее, наоборот, более подзрительными казались книги еретиков, а не язычников. А что первые соборы и епископы до 800 г. ограничивались только указанием книг, которых они не рекомендовали, не идя далее и предоставляя совести каждого читать их или нет, об этом свидетельствует уже падре Паоло<sup>7</sup>, великий обличитель Тридентского собора. После этого времени римские папы, захватив в свои руки сколько хотели политической власти, стали простирать свое владычество не только на человеческие суждения, как это было раньше, но и на человеческое зрение, сжигая и запрещая неугодные им книги. Однако первоначально они были умеренны в цензуре, и число запрещенных книг было не велико, пока Мартин V своей буллой не только запретил чтение еретических книг, но и первый стал подвергать за это отлучению от церкви; а так как Уиклиф и Гусс именно около того времени становились опасными для пап, то они первые и побудили папский двор к более строгой политике запрещений. По тому же пути шли Лев X и его преемники до той поры, когда Тридентский собор и испанская инквизиция, родившиеся вместе, создали или усовершенствовали каталоги и индексы запрещенных книг, роясь в мыслях добрых старых авторов и совершая тем над их могилами самое худшее поругание, какое только можно было совершить.

При этом они не остановились на одних только еретических книгах, а стали запрещать или тащить в новое чистилище индекса все, что им было не по вкусу. В довершение же насилия они издали предписание, чтобы ни одна книга, памфлет или газета — как будто св. Петр доверил им не только ключи от рая, но и от печати — не могли быть напечатаны без одобрения и разрешения двух или трех обжор-монахов. Например:

«Пусть канцлер Чини соизволит рассмотреть, заключает ли в себе настоящее сочинение что-либо, препятствующее к его напечатанию.

Винцент Раббата, флорентийский викарий».

«Я рассмотрел настоящее сочинение и не нашел в нем ничего противного католической вере и добрым нравам. В удостоверение чего я... и т.д.

Николо Чини, канцлер флорентийский».

«Принимая во внимание предыдущее отношение, настоящее сочинение Даванцати печатать разрешается.

Винцент Раббата и проч.».

«Печатать разрешается. Июля 15. Брат Симон Момпеи д'Амелиа, канцлер св. инквизиции во Флоренции».

Они были уверены, что если бы кому-нибудь удалось только что вырваться из заключения в бездонной пропасти, то это четырехкратное заклятие опять низвергло бы его туда же. Боюсь, что в ближайшее время они возьмут под свой надзор разрешение того, что, говорят, имел в виду взять Клавдий, хотя и не привел своего намерения в исполнение. А вот соблаговолите обратить внимание на другую форму цензуры римского образца:

«Imprimatur<sup>8</sup>, если это будет благоугодно досточтимому настоятелю святого дворца.

Белькастро, наместник». «Imprimatur. Брат Николо Родольфи, настоятель св. дворца».

Иногда на piazza<sup>9</sup> заглавного листа можно найти сразу пять imprimatur'ов, которые, наподобие диалога, обмениваются друг с другом комплиментами и рассыпаются в выражениях обоюдного бритого уважения лишь затем, чтобы сказать автору, в смущении стоящему у ног своего труда, может ли он его печатать, или должен уничтожить. Эти приятные разговоры, эти сладкие антифоны очаровали недавно наших прелатов и их капелланов, отозвавшихся на них приятным эхом, и заставили нас поглупеть до того, что мы с легким сердцем подражаем властному imprimatur, одному из Ламбетского дворца, другому — с западной стороны церкви св. Павла<sup>10</sup>. Причем обезьянничанье перед Римом достигло того, что приказ этот отдавался обязательно по-латыни, как будто ученое перо, писавшее его, могло писать только по-латыни; или, быть может, это происходило потому, что, по мнению отдававших приказ, ни один обыкновенный язык не мог достойно выразить чистую идею imprimatur'a; скорее же всего — как надеюсь я — потому, что в нашем английском языке — языке людей, издавна прославившихся в качестве передовых борцов за свободу, — не нашлось бы достаточного числа рабских букв для выражения столь диктаторских притязаний.

Таким образом, изобретатели цензуры и оригиналы цензурных разрешений налицо, и вы можете по прямой линии проследить их родословную. Как видно, установлением цензуры мы обязаны не какому-либо древнему государству, правительству или церкви, не какому-либо закону, изданному некогда нашими предками, и не новейшей

практике какого-либо из реформированных государств или церквей, а самому антихристианскому из соборов<sup>11</sup> и самому тираническому из судилищ — судилищу инквизиции. До этого времени книги так же свободно вступали в мир, как и все, что рождалось; порождения духа появлялись не с большими затруднениями, чем порождения плоти, и ревнивая Юнона, скрестив ноги, не следила завистливо за появлением на свет духовных детей человека; если же при этом рождалось чудовище, то кто станет отрицать, что его по справедливости предавали огню или бросали в море? Но чтобы книга, находясь в худшем положении, чем грешная душа, должна была являться перед судилищем до своего рождения в мир и подвергаться во тьме, прежде своего появления на свет, приговору Радаманта сотоварищи, — об этом никогда не было слышано ранее, пока чудовище несправедливости, вызванное наступлением реформации и смущенное ее успехами, не стало изыскивать новых преддверий ада и адских бездн, куда бы можно было вместе с осужденными заключать и наши книги. Это и был тот лакомый кусок, который столь услужливо подхватили и которым столь дурно воспользовались наши инквизиторствующие епископы и их приспешники, капелланы из францисканцев. Что же касается вас самих, то всякий, знающий чистоту ваших действий и ваше уважение к истине, не усомнится в вашем нерасположении к этим, хорошо известным вам авторам цензурного закона и в отсутствии с вашей стороны всякого злого намерения при издании его.

Быть может, кто-нибудь скажет: что же из того, что изобретатели дурны, их изобретение все же может быть хорошо. Допустим, но если здесь речь идет не об изобретении чрезвычайной глубины, а о таком, которое ясно и понятно для каждого; если лучшие и мудрейшие государства во все времена и при всех обстоятельствах избегали пользоваться им и если его впервые употребили в дело лишь самые лживые развратители и угнетатели людей с единственной целью противодействовать и мешать реформации, то я присоединяюсь к людям, полагающим, что нужна более хитрая алхимия, чем какую знал Луллий<sup>12</sup>, дабы извлечь из подобного изобретения какую-либо пользу. Этим рассуждением я хочу только показать, что, судя по дереву, и плод на нем должен был вырасти действительно опасный и подозрительный. Я разберу его свойства последовательно одно за другим; теперь же, согласно намеченному себе плану, рассмотрю, как вообще

следует думать о чтении всякого рода книг и чего больше они приносят, пользы или вреда.

Не буду долго останавливаться на примерах Моисея, Даниила и Павла, хорошо знавших науки египтян, халдеев и греков, что едва ли было бы возможно без чтения книг этих народов; апостол Павел не счел осквернением для Священного Писания включить в него изречения трех греческих поэтов, в том числе одного трагика<sup>13</sup>. И хотя между первыми церковными учителями данный вопрос вызывал иногда споры, но большинство из них признавали законность и пользу чтения книг; это с очевидностью обнаружилось, когда Юлиан-Отступник, самый тонкий противник нашей веры, издал декрет, запрещавший христианам изучение языческих наук, — ибо, говорил он, они поражают нас нашим собственным оружием и побеждают при помощи наших наук и искусств. Так как этой хитрой мерой христиане были поставлены в безвыходное положение и им грозила опасность впасть в полное невежество, то оба Аполлинария<sup>14</sup> взялись, так сказать, вычланивать все семь свободных наук из Библии, придавая последней различные формы речей, поэм и диалогов и даже помышляя о новой христианской грамматике.

Однако, говорит историк Сократ, Промысел Божий позаботился об этом лучше, нежели Аполлинарий и его сын, уничтожив упомянутый варварский закон вместе с жизнью того, кто его издал. Изъятие греческой науки казалось тогда великим ущербом; все думали, что это гонение гораздо более подрывает и тайно разрушает церковь, чем открытая жестокость Деция или Деоклетиана. И быть может, дьявол потому именно и высек однажды св. Иеронима во сне, во время Великого поста, за чтение Цицерона, если только тут не было просто лихорадочного бреда. Ибо если бы злой дух вздумал поучать его за слишком большое рвение к Цицерону и наказывать не за его суетность, а за самое чтение, то он поступил бы явно пристрастно; во-первых, наказывая его за чтение здравомыслящего Цицерона, а не легкомысленного Плавта, которого св. Иероним, по его собственному сознанию, читал незадолго перед тем, а во-вторых, подвергая наказанию только его одного, тогда как столь много святых отцов ранее дожили до старости, посвящая свой досуг таким приятным и изящным занятиям и совершенно не нуждаясь в биче подобных поучительных видений. Василий Великий даже указывает, как много пользы можно извлечь из чтения Маргита, не существующей в настоящее время шутиливой поэмы Го-

мера. Почему бы тогда не мог послужить для той же цели и итальянский роман о Морганте<sup>15</sup>!

Но если допустить, что мы можем доверяться видениям, то вот видение, упоминаемое Евсевием и случившееся, при совершенно нормальных обстоятельствах, значительно раньше того, о котором св. Иероним рассказал монахине Евстохии. Дионисий Александрийский около 240 г. пользовался большим почетом в церкви за свое благочестие и ученость и как человек очень полезный в борьбе с еретиками, вследствие знакомства с их книгами. Но один пресвитер заронил в его совесть сомнение, указав ему, что он слишком смело обращается среди таких оскверняющих сочинений. Достойный муж, не желая вызывать соблазна, стал раздумывать о том, как ему поступать. В это время внезапное видение, ниспосланное от Бога (в чем удостоверяет его собственное послание), подкрепило его следующими словами:

«Читай всякие книги, какие только попадут в твои руки, ибо ты можешь сам все правильно обсудить и исследовать». По его собственному свидетельству, он тем охотнее согласился с этим откровением, что оно совпадало со словами апостола к фессалоникийцам: «Испытайте все, но запоминайте только доброе».

Он мог бы присоединить сюда другое замечательное изречение того же автора: «Для чистого — все чисто», не только пища и питье, но и всякого рода знания, хорошие или дурные: знание не может развращать, а следовательно — и книги, если воля и совесть не развращены. Ибо книги, как и пища, одни бывают хорошего, другие — плохого качества; поэтому Господь, уже не в апокрифическом видении, сказал без всякого ограничения: «Встань, Петр, заколи и ешь», предоставляя выбор разумению каждого. Здоровая пища для больного желудка мало чем отличается от нездоровой; равным образом, и самые лучшие книги для развращенного ума могут послужить поводом ко злу. Дурная пища едва ли может составить хорошее питание для самого здорового желудка; напротив того, дурные книги — и в этом их отличие — могут послужить для осторожного, рассудительного читателя во многих отношениях поводом к открытиям, опровержениям, предостережениям и объяснениям. Я едва ли могу привести в пользу этого лучшее доказательство, чем свидетельство одного из ученейших людей нашей страны и члена нашего парламента, мистера Сельдена, сочинение которого о естественном и международном праве показывает, не только путем ссылок на крупные авторитеты, но и путем точ-

ных доводов и почти математически доказательных положений, что всякого рода мнения и даже ошибки, какие только когда-либо были известны людям, будучи вычитаны из книг и сопоставлены друг с другом, служат большой подмогой для скорейшего отыскания истины.

Я думаю поэтому, что если Бог предоставил человеку свободу в выборе пищи для своего тела, установив лишь правила умеренности, то он предоставил ему и полную свободу в заботе о своей умственной пище; вследствие этого каждый взрослый человек может сам заботиться об упражнении своей главной способности. Какая великая добродетель умеренность, какую великую роль играет она в жизни человека! И тем не менее Бог с величайшим доверием предоставляет пользование этим благом каждому взрослому человеку, без какого-либо особого закона или повеления. Вот почему, посылая евреям пищу с неба, Он давал на каждого ежедневно такое количество манны, которого было более чем достаточно для трех хороших едоков. Ибо по отношению к тому, что входит в человека, а не исходит из него и потому не оскверняет, Бог не считает нужным держать его в положении постоянного детства, под постоянным наблюдением, а предоставляет ему, пользуясь даром разума, быть своим собственным судьей; и не много осталось бы на долю проповедников, если бы закон и принуждение должны были так властно касаться того, что до сих пор достигалось простым увещанием. Соломон наставляет нас, что излишнее чтение изнуряет тело; но ни он, ни кто-либо из других боговдохновенных авторов не говорит нам, чтобы какое-либо чтение было недозволительно; и наверное, Бог, если бы только счел за благо наложить на нас в данном случае ограничение, указал бы нам не на то, что изнурительно, а на то, что не дозволено.

Что касается того, что обращенные св. Павлом сожгли эфесские книги, то, судя по сирийскому объяснению, эти книги служили для волшебства. Сожжение их было поэтому частным и добровольным делом и может служить лишь для добровольного подражания: движимые раскаянием, люди сожгли свои собственные книги, власть же была тут ни при чем; одни так поступили с этими книгами, другие, быть может, прочли бы их с известною пользой. Добро и зло, как мы знаем, растут в этом мире вместе и почти неразлучно; познание добра тесно связано и переплетено с познанием зла, и, вследствие обманчивого сходства, различить их друг от друга бывает так же трудно, как те смешанные семена, которые должна была, в непрерывном труде, раз-

бирать и разделять по сортам Психея. От вкушения одного яблока познание добра и зла, как двух связанных между собою близнецов, проникло в мир; и, быть может, осуждение Адама за познание добра и зла в том и состоит, чтобы познавать добро через зло.

И действительно, какой акт мудрости или воздержания может быть совершен при теперешнем состоянии человека без познания зла? Только тот, кто способен понимать и судить о пороке со всеми его приманками и мнимыми удовольствиями и тем не менее воздерживаться от него, тем не менее отличать и предпочитать настоящее добро, — только тот есть истинный воин Христов. Я не могу воздавать хвалу той трусливой монашеской добродетели, которая бежит от испытаний и подвига, никогда не идет открыто навстречу врагу и незаметно уходит с земного поприща, где веноч бессмертия нельзя получить иначе, как подвергаясь пыли и зною. Ведь мы приходим в мир не невинными, а уже не чистыми; очищают нас испытания, испытания же имеют место в борьбе с враждебными силами. Поэтому та добродетель, которая детски наивна в воззрении на зло и отвергает его, не зная всего самого крайнего, что порок сулит своим служителям, — бела, но не чиста. Это — чистота внешняя, и потому наш мудрый и серьезный поэт Спенсер — которого я осмеливаюсь считать лучшим учителем, чем Скотта и Фому Аквинского, — описывая истинную воздержанность в образе Гвиона, ведет последнего, вместе с его спутником, в пещеру Маммона и в приют земных наслаждений, чтобы он все это видел и знал и тем не менее от всего этого отказался<sup>16</sup>.

Таким образом, если познание и зрелище порока в этом мире столь необходимы для человеческой добродетели, а раскрытие заблуждений — для утверждения истины, то каким другим способом можно вернее и безопаснее проникнуть в область греха и лжи, как не при помощи чтения всякого рода трактатов и выслушивания всевозможных доводов? В этом и состоит польза чтения разнообразных книг. Обыкновенно указывают, однако, на проистекающий отсюда тройкого рода вред. Во-первых, боятся распространения заразы. Но в таком случае следует устранить из мира всю человеческую науку и споры по религиозным вопросам, более того — самую Библию, так как она часто рассказывает о богохульстве недостаточно пристойно, описывает плотские похоти нечестивых людей не без привлекательности, повествует, как самые благочестивые люди страстно ропщут на Провидение, прибегая к доводам Эпикура; по поводу же других боль-

шой важности спорных мест дает для обыкновенного читателя сомнительные и темные ответы; спросите также талмудиста, чем страдает пристойность, почему Моисей и все пророки не могут убедить его изречь написанное в тексте «Хетив» и чем это повредило бы пристойности его «Кери», стоящего на полях<sup>17</sup>. Именно эти причины, как мы все знаем, и побудили папистов поставить Библию на первое место среди запрещенных книг. Но в таком случае нужно уничтожить все сочинения древних отцов церкви, как, например, сочинения Климента Александрийского или книгу Евсевия о приготовлении к Евангелию, которая при помощи целого ряда языческих непристойностей подготавливает наш слух к восприятию Евангелия. Кому неизвестно также, что Ирений, Епифаний, Иероним и другие не столько категорически опровергают ереси, сколько делают их известными, часто принимая при этом за ересь истинное мнение!

Нельзя также по поводу этих и вообще всех наиболее зловердных — если только их следует считать таковыми — языческих писателей, с которыми связана жизнь человеческого знания, успокаивать себя тем, что они писали на неизвестном языке, раз, как мы знаем, язык этот хорошо известен худшим из людей, в высшей степени искусно и усердно прививавшим высосанный ими яд при дворах государей, знакомя последних с утонченнейшими наслаждениями и возбуждениями чувственности. Так, быть может, поступал Петроний, которого Нерон называл своим «арбитром», начальником своих пиршеств, а равным образом известный развратник из Ареццо<sup>18</sup>, столь грозный и вместе с тем столь приятный для итальянских царедворцев. Ради потомства я уже не называю имени человека, которого Генрих VIII в веселую минуту величал своим адским викарием<sup>19</sup>. Таким сокращенным путем зараза от иностранных книг проникнет к народу гораздо скорее и легче, чем можно совершить путешествие в Индию — поедем ли мы туда с севера Китая на восток или из Канады на запад, — хотя бы наша испанская цензура давила английскую печать всеми силами.

С другой стороны, зараза от книг, посвященных религиозным спорам, более рискованна и опасна для людей ученых, чем невежественных, — и тем не менее, эти книги должно выпускать нетронутыми рукой цензора. Трудно привести пример, когда бы невежественный человек был совращен хоть одной папистской книгой на английском языке, без восхваления ее и разъяснения со стороны кого-либо из ду-

ховных лиц католической церкви; и действительно, все такие сочинения, истинны они или ложны, «непонятны без руководителя», как были не понятны пророчества Исайи для евнуха. А сколько наших священников были совращены, благодаря изучению толкований иезуитов и сорбонистов, и как быстро они должны были совратить народ, это мы знаем из своего собственного недавнего и печального опыта. Сказанного не следует забывать, так как остроумный и ясно мыслящий Арминий<sup>20</sup> был совращен исключительно чтением одного написанного в Дельфте анонимного рассуждения, взятого им в руки сначала для опровержения. Таким образом, принимая во внимание, что эти книги и весьма многие из тех, которые всего более способны заразить жизнь и науку, нельзя запрещать без вреда для знания и основательности диспутов; что подобные книги всего более и всего скорее уловляют людей ученых, через которых всякая ересь и безнравственность могут быстро проникнуть и в народ; что дурное можно узнать тысячью других способов, с которыми нельзя бороться, и что дурные учения не могут распространяться посредством книг без помощи учителей, имеющих возможность делать это и помимо книг, а следовательно беспрепятственно, — я совершенно не в состоянии понять, каким образом такое лукавое установление, как цензура, может быть исключительно из числа пустых и бесплодных предприятий. Человек веселый не удержится, чтобы не сравнить ее с подвигом того доблестного мужа, который хотел поймать ворон, закрыв ворота своего парка. Кроме того, существует другое затруднение: раз ученые люди первые почерпают из книг и распространяют порок и заблуждения, то каким образом можно полагаться на самих цензоров, если только не приписывать им или если они сами не присваивают себе качеств непогрешимости и несовратимости, сравнительно с другими людьми в государстве? Вместе с тем если верно, что мудрый человек, подобно хорошему металлургу, может извлечь золото из самой дрянной книги как из шлаков, глупец же останется глупцом с самой лучшей книгой, как и без нее, то нет никакого основания лишать мудрого человека выгод его мудрости, стараясь отстранить от глупца то, что все равно не убавит его глупости. Ибо если стараться со всей точностью удалять от него всякое вредное чтение, то мы не будем в состоянии извлечь для него добрых правил не только из суждений Аристотеля, но и Соломона и нашего Спасителя, а следовательно, должны будем неохотно допускать его до хороших книг, так как известно, что умный человек сдела-

ет из пустого памфлета лучшее употребление, чем глупец — из Священного Писания.

Далее, могут указать, что мы не должны подвергать себя искушениям без нужды, а также не тратить своего времени по-пустому. Опираясь на сказанное выше, на оба эти возражения можно дать тот ответ, что подобного рода книги служат для всех людей не искушением и пустой тратой времени, а являются полезным лекарственным материалом, из которого можно извлечь и приготовить сильнодействующие средства, необходимые для жизни человека. Что же касается детей и людей с детским разумом, не обладающих искусством определять и пользоваться этими полезными минералами, то им можно советовать не трогать их; но насильно удерживать их от этого нельзя никакими цензурными запрещениями, сколько бы их ни изобретала святая инквизиция. Своей ближайшей задачей я именно и поставил себе доказать, что цензурный порядок совершенно не ведет к той цели, ради которой он был установлен, — что, впрочем, ясно уже и из предшествующих столь обильных разъяснений. Такова прямота истины, что она раскрывается скорее, действуя свободно и без принуждения, чем при помощи методических рассуждений.

Целью моей с самого начала было показать, что ни один народ, ни одно благоустроенное государство, если только они вообще ценили книги, никогда не вступали на путь цензуры; но могут, однако, возразить, что последняя есть недавно открытая мудрость. На это я в свою очередь отвечу, что, хотя и трудно было изобрести цензуру, но так как это — вещь, легко и явно напрашивающаяся на ум, то с давних пор не было недостатка в людях, которые думали о подобном пути; если же они на него не вступили, то этим показали нам пример здравого суждения, так как причиной было не неведение о цензуре, а отрицательное к ней отношение. Платон, человек высокого авторитета, менее всего, однако, в своем «Государстве» — книге о законах, никогда, впрочем, ни в одном государстве не принятых, — питал свою фантазию изданием для своих воображаемых правителей множества указов, которые его поклонники в иных отношениях предпочли бы потопить и искупить в веселых чашах на одном из ночных пиров<sup>21</sup> Академии. По этим законам он не допускает, по-видимому, никакого другого знания, кроме установленного неизменным предписанием и состоящего по большей части из практических традиционных сведений, — знания, для приобретения которого достаточно меньшего количества

книг, чем число его собственных диалогов. Он постановляет также, что ни один поэт не должен читать своих произведений ни одному частному лицу, пока судьбы и хранители законов не прочтут их и не одобряют. Ясно, однако, что Платон предназначал этот закон специально для своего воображаемого государства — и не для какого другого. Иначе почему он не был законодателем для самого себя и нарушал свои собственные законы? Ведь его же собственные власти изгнали бы его за написанные им игривые эпиграммы и диалоги, за постоянное чтение Софрона Мима и Аристофана — книг до чрезвычайности непристойных, а также за то, что он рекомендовал чтение последнего тирану Дионисию, злейшим поносителем лучших друзей которого тот был и которому было мало нужды тратить время на подобные пустяки. Но Платон сознавал, что подобная цензура поэтических произведений стоит в прямой связи со многими другими условиями жизни в его воображаемом государстве, которому нет места в этом мире. Поэтому ни он сам, ни какое-либо правительство или государство не подражали этому пути, так как сам по себе, без других соответствующих установлений, он должен был бы неизбежно оказаться пустым и бесплодным.

В самом деле, если бы они прибегали только к одному роду строгости, не прилагая таких же забот к регулированию всего прочего, что может развращать умы, то эта отдельная попытка, как они понимали, была бы совершенно бессмысленной работой; это значило бы запираť одни ворота из боязни разврата и в то же время держать открытыми все другие. Если мы хотим регулировать печать и таким способом улучшать нравы, то должны поступать так же и со всеми увеселениями и забавами, со всем, что доставляет человеку наслаждение. В таком случае нельзя слушать никакой музыки, нельзя сложить или пропеть никакой песни, кроме серьезной дорической. Нужно установить наблюдателей за танцами, чтобы наше юношество не могло научиться ни одному жесту, ни одному движению или способу обращения, кроме тех, которые этими наблюдателями считаются приличными. Об этом именно и заботился Платон. Понадобится труд более двадцати цензоров, чтобы проверить все лютни, скрипки и гитары, находящиеся в каждом доме; причем разрешение потребуется не только на то, что говорят эти инструменты, но и на то, что они могут сказать. А кто может заставить умолкнуть все арии и мадригалы, которые нежность нашептывает в укромных уголках? Следует также

обратить внимание на окна и балконы; это — самые лукавые книги, с опасными фасадами. Кто запретит их? — Разве двадцать цензоров? Равным образом в деревнях должны быть свои надсмотрщики за тем, что рассказывают волынка и гудок, а также — какие баллады и гаммы разыгрывают деревенские скрипачи, ибо они — «Аркадии» и Монтмайоры<sup>22</sup> поселян.

Далее, за какой национальный порок более, чем за наше домашнее обжорство, повсюду идет о нас дурная слава? Кто же будет руководителем наших ежедневных пиршеств? И что нужно сделать, чтобы воспрепятствовать массам посещать дома, где продается и обитает пьянство? Наше платье также должно подлежать цензуре нескольких рассудительных портных, чтобы придать ему менее легкомысленный покррой. Кто должен наблюдать за совместными беседами нашей мужской и женской молодежи, чтобы при этом не были нарушены обычаи нашей страны? Кто установит точную границу, дальше которой нельзя идти в разговорах и мыслях? Наконец, кто запретит и различит всякого рода вредные сборища и дурные компании? Все названные факты будут и должны быть; но как сделать их наименее вредными и развращающими, это — задача настоящего мудрого управления государством.

Удаляться из этого мира в область атлантической и утопийской политики, которых никогда нельзя применить на деле, не значит улучшать наше положение; напротив того, надо уметь мудро управляться в этом мире зла, куда, помимо нашей воли, поместил нас Господь. В этом отношении принесут пользу не платоновская цензура книг, которая необходимым образом влечет за собой и разного рода другие цензуры, без всякой пользы выставяющие нас на посмешище и утомляющие нас, а те неписанные или, по крайней мере, не принудительные законы добродетельного воспитания, религиозной и гражданской культуры, которые Платон называет узами, скрепляющими государства, опорой и поддержкой всякого писаного закона. Именно этим законом и принадлежит главная роль в подобных делах, от цензуры же тут легко уклониться. Безнаказанность и нерадивость, без сомнения, губельны для государства, но в том и состоит великое искусство управления, чтобы знать, где должен налагать запрет и наказание закон, а где следует пользоваться исключительно убеждением. Если бы каждое, как хорошее, так и дурное действие зрелого человека подлежало наблюдению, приказанию и побуждению, то чем была бы тогда

добродетель, как не одним названием; какой ценой обладали бы тогда хорошие поступки, какой благодарности заслуживали бы рассудительность, справедливость, воздержанность? Многие сетуют на Божественное Провидение за то, что оно попустило Адама согрешить. Безумные уста! Если Бог дал ему разум, то Он дал ему и свободу выбора, ибо разум есть способность выбора; иначе он был бы просто автоматом, наподобие Адама в кукольных комедиях. Мы сами не уважаем такой покорности, такой любви или щедрости, которые совершаются по принуждению; поэтому Бог и оставил ему свободу, поместив предмет соблазна почти перед глазами; в этом и состояла его заслуга, его право на награду, на похвалу за воздержание. Ради чего Бог создал внутри нас страсти и удовольствия вокруг нас, как не для того, чтобы они, подчинившись правильной умеренности, стали настоящими составными частями добродетели? Плохим наблюдателем человеческих дел является тот, кто думает удалить грех, удалив предмет греха; ибо, не говоря уже о том, что грех — огромная масса, растущая во время самого процесса своего уничтожения, если даже допустить, что часть его на время может быть удалена от некоторых людей, то все же не от всех, когда дело идет о такой универсальной вещи, как книги; если же это и будет сделано, то сам грех тем не менее останется невредимым. Отнимите у скупца все его сокровища и оставьте ему один драгоценный камень, вы все же не избавите его от алчности. Уничтожьте все предметы наслаждения, заприте юношей при строжайшей дисциплине в какой-нибудь монастырь, вы все же не сделаете чистым того, кто не пришел туда таким: столь велики должны быть осторожность и мудрость, необходимые для правильного решения этого вопроса.

Но предположим, что мы изгоним таким способом грех; тогда, изгоняя его, мы изгоним и добродетель, ибо предмет у них один и тот же: с уничтожением последнего уничтожаются и они оба. Это доказывает высокий промысел Господа, который, хотя и повелевает нам умеренность, справедливость и воздержанность, тем не менее ставит перед нами в избытке предметы для наших желаний и дает нам склонности, могущие выйти из границ всякого удовлетворения. Зачем же нам в таком случае стремиться к строгости, противной порядку, установленному Богом и природой, сокращая и ограничивая те средства, которые, при свободном допущении книг, послужат не только к испытанию добродетели, но и к торжеству истины?

Закон, стремящийся наложить ограничение на то, что, не поддаваясь точному учету, тем не менее может способствовать как добру, так и злу, было бы справедливее признать дурным законом. И если бы мне предстояло сделать выбор, то я предпочел бы самое незначительное доброе дело во много раз большему насильственному стеснению зла. Ибо Бог, без сомнения, гораздо более ценит преуспевание и совершенствование одного добродетельного человека, чем обуздание десяти порочных. И если все то, что мы слышим или видим, сидя, гуляя, путешествуя или разговаривая, может быть по справедливости названо нашими книгами и оказывает такое же действие, как и книги, то, очевидно, запрещая лишь одни книги, закон не достигает цели, поставленной им себе. Разве мы не видим, как печатается — и притом не раз или два, а каждую неделю, о чем свидетельствуют влажные листы бумаги, — и распространяется между нами, несмотря на существование цензуры, непрерывный придворный пасквиль<sup>23</sup> на парламент и наш город? А между тем именно здесь закон о цензуре и должен был бы, по-видимому, оправдать себя. Если бы он тут применялся, скажете вы. Но поистине, если применение закона оказывается невозможным или неверным теперь, в этом частном случае, то почему оно будет успешнее потом, по отношению к другим книгам?

Таким образом, если закон о цензуре не должен быть ничтожным и бесплодным, вам предстоит новый труд, лорды и общины, — вы должны запретить и уничтожить все безнравственные и не цензурованные книги, которые уже были напечатаны и опубликованы; вы должны составить их список, чтобы каждый мог знать, какие из них дозволены и какие нет, а также должны отдать приказ, чтобы ни одна иностранная книга не могла поступать в обращение, не пройдя через цензуру. Такое занятие возьмет все время у немалого числа надсмотрщиков и притом людей необычных. Существуют также книги, которые отчасти полезны и хороши, отчасти вредны и пагубны; опять потребуется немалое число чиновников для очищения книг и исключения из них вредных мест, чтобы не пострадало царство знания. Наконец, если число подобных книг будет все увеличиваться, то вы должны будете составить список всех тех типографов, которые часто нарушают закон, и запретить ввоз книг, не читаемых подозрительными типографиями. Словом, чтобы закон о цензуре был точен и без недостатков, вы должны его совершенно изменить по образцу Тридента и Севильи, что, я уверен, вы погнушаетесь сделать.

Но даже и допустив, что вы дошли бы до этого — от чего сохрани вас Бог, — то все же закон о цензуре был бы бесполезен и не пригоден для цели, к которой вы его предназначаете. Если дело идет о том, чтобы предотвратить возникновение сект и ересей, то кто же настолько несведущ в истории, чтобы не знать о многих сектах, избегавших книг как соблазна и тем не менее на много веков сохранивших свое учение в неприкосновенности, исключительно путем устного предания? Небезызвестно также, что христианская вера (ведь и она была некогда ересью!) распространилась по всей Азии прежде, чем какое-либо из Евангелий и посланий были написаны. Если же дело идет об улучшении нравов, то обратите внимание на Италию и Испанию: сделались ли эти страны сколько-нибудь лучше, честнее, мудрее, целомудреннее с тех пор, как инквизиция стала немилосердно преследовать книги? Другое соображение, делающее ясным непригодность закона о цензуре для предположенной цели, касается тех способностей, которыми должен обладать каждый цензор. Не может подлежать сомнению, что тот, кто поставлен судьей над жизнью и смертью книг, над тем, следует ли допускать их в мир или нет, обязательно должен быть человеком выше общего уровня по своему трудолюбию, учености и практической опытности; в противном случае в его суждениях о том, что допустимо к чтению, а что нет, будет немало ошибок, а потому и немалый вред. Если же он будет обладать нужными для цензора качествами, то такая работа может быть скучнее и неприятнее, где может быть больше потеряно времени, чем при непрерывном чтении негодных книг и памфлетов, часто представляющих собой огромные тома? Ни одну книгу нельзя читать иначе как в свою пору; но быть принужденным во всякое время, в неразборчивых рукописях читать сочинения, из которых и в прекрасной печати не всегда захочешь прочесть три страницы, такое положение, по моему мнению, должно быть решительно невыносимо для человека, ценящего свое время и свой труд или просто обладающего тонким вкусом. Я прошу нынешних цензоров извинить меня за подобный образ мыслей, так как, без сомнения, они приняли на себя цензорскую должность из желания повиноваться парламенту, приказание которого, быть может, заставило их смотреть на свои обязанности как легкие и не многотрудные; но что и это короткое испытание было для них уже утомительно, — о том в достаточной степени свидетельствуют их собственные слова и извинения перед людьми, которые должны были столько дней доби-

ваться от них разрешения. Таким образом, видя, что принявшие на себя обязанности цензоров несомненно желали бы под благовидным предлогом избавиться от них, что ни один достойный человек, никто, кроме явного расточителя своего досуга, не захочет заместить их, — если только он прямо не рассчитывает на цензорское жалованье, — то легко себе представить, какого рода цензоров мы должны ожидать впоследствии: то будут люди невежественные, властные и нерадивые или низко корыстолюбивые. Это именно я и имел в виду, говоря, что закон о цензуре не поведет к той цели, которую преследует.

Наконец, от соображений о том, что закон о цензуре не может способствовать добру, обращаюсь к явно причиняемому им злу, так как, прежде всего, он является величайшим угнетением и оскорблением для науки и ученых. Прелаты всегда жаловались и сетовали на малейшую попытку устранить соединение бенефиции и распределить более правильно церковные доходы, ссылаясь на то, что в таком случае навсегда будет уничтожена и задушена всякая наука. Я должен заметить, однако, по поводу этого мнения, что никогда не видел основания думать, будто хоть одна десятая часть знаний держалась или падала вместе с духовенством: на мой взгляд, это лишь грязные и недостойные речи некоторых духовных лиц, обладающих хорошими доходами. Поэтому, если вы не хотите поселить крайнего уныния и неудовольствия не в праздной толпе ложно претендующих на науку, а в свободном и благородном сословии тех, кто действительно родился для науки и любит ее ради нее самой, не ради прибыли или чего-либо подобного, а во имя служения Богу и истине и, быть может, во имя той прочной славы и постоянной хвалы, которые в глазах Бога и хороших людей служат наградою за обнародование трудов, споспешствующих благу человечества, — то знайте, что не доверять до такой степени разуму и честности лиц, обладающих известностью в науке и в то же время не совершивших ничего позорного, чтобы не разрешать им печатать своих произведений без опекуна и наблюдателя, из страха распространения ереси или заразы, есть величайшая несправедливость и оскорбление, каким только может подвергнуться свободный и просвещенный ум.

Какая выгода быть взрослым человеком, а не школьником, если, избавившись от школьной ферулы<sup>24</sup>, приходится подчиняться указке *imprimatur*'а, если серьезные и стоившие немалых трудов сочинения, подобно грамматическим упражнениям школьников, не могут быть

выпущены в свет помимо бдительного ока нерешительного или слишком решительного цензора? Тот, действиям которого не доверяют, хотя в его намерениях нет ничего заведомо дурного и подлежащего уголовным законам, имеет полное основание считать себя в государстве, где он родился, не за кого иного, как за безумца или чужестранца. Когда человек пишет для света, он призывает к себе на помощь весь свой разум, всю силу своей аргументации; он ищет, размышляет, трудится, он советуется и рассуждает со своими разумными друзьями; совершив все это, он считает себя столь же осведомленным в своем предмете, как и всякий, писавший до него; и если ни годы, ни прилежание, ни прежние доказательства его способностей не могут поставить его, по отношению к этому наиболее совершенному акту его добросовестности и основательности, на ту ступень зрелости, которая исключает недоверие и подозрительность; если тем не менее он должен отдавать свое прилежание, свое ночное бдение, свою трату Палладина масла на поспешный суд заваленного делами цензора, быть может, гораздо более молодого, чем он, быть может, гораздо ниже его стоящего по критической способности, быть может, никогда не написавшего ни одной книги; если его сочинение — раз только оно не будет запрещено или забраковано — должно, точно малолетка с дядькой, появиться в печати с ручательством цензора и его удостоверением на обороте заглавного листа в том, что автор не идиот и не развратитель, — то на все это следует смотреть не иначе, как на бесчестие и унижение для автора, для книги, для прав и достоинства науки.

А что сказать о том случае, когда автор богат воображением и ему приходит на ум многое, чем следовало бы дополнить его сочинение уже после цензуры, при печатании, что нередко случается с лучшими и трудолюбивейшими писателями, и притом, быть может, двадцать раз с одной книгой? Типограф не смеет отступить от цензурованного экземпляра; автор должен поэтому опять тащиться к своему ментору, чтобы он просмотрел его добавления; а так как сделать это должно прежнее лицо, то автору придется не раз прогуляться, прежде чем он отыщет своего цензора или застанет его свободным; в результате — или печатание должно остановиться, в чем уже немалый вред, или автор должен отказаться от своих наиболее зрелых мыслей и выпустить книгу в худшем виде, чем он мог бы сделать это, что для трудолюбивого писателя является величайшим горем и мучением, какие только возможны.

И каким образом человек может учить с авторитетом, этой душой всякого учительства; каким образом может он проявить себя в своей книге настоящим ученым — а он должен им быть, иначе ему лучше молчать, — если все, чему он учит, что излагает, находится под опекой, подвергается исправлениям патриархального цензора; если последний может вычеркнуть или изменить каждое слово, не согласное вполне с его упорством или, как выражается он сам, с его мнением? Если каждый здравомыслящий читатель, при первом же взгляде на педантическую цензурную отметку, будет готов отбросить от себя книгу так далеко, как метательный диск, с такими приблизительно словами: «Я ненавижу учителей-мальчишек; я не терплю наставника, приходящего ко мне под палкой надзирателя; я ничего не знаю о цензуре, кроме того, что его подпись свидетельствует о его самоуверенности, но кто поручится мне за основательность его суждений?» — то книгопродавец может ответить: «Государство, милостивый государь». Читатель, однако, вправе сейчас же возразить на это: «Государство может управлять мной, но не критиковать меня; оно так же легко может ошибаться в цензуре, как цензор в авторе; это довольно обыденная мысль», и присоединить к сказанному еще следующие слова Фрэнсиса Бэкона: «Разрешенные книги говорят лишь на языке своего времени». Ибо, если бы даже цензор оказался более сведущим, чем то бывает обыкновенно — а это было бы большой опасностью для ближайших поколений, — то все же его должность и характер его деятельности не позволили бы ему пропускать ничего, выходящего из ряда вон.

Но еще печальнее, если творение какого-нибудь умершего автора, сколь ни славен он был при жизни, а равно и в настоящее время, попадет в руки цензора для получения разрешения напечатать его или перепечатать и если в книге этого автора найдется какое-нибудь крайне смелое суждение, высказанное в пылу горячей работы (и кто знает, быть может, продиктованное Божественным вдохновением), но несогласное с низменным и дряхлым настроением самого цензора, то, будь это сам Нокс, преобразователь государства, он не простит ему его суждения, и таким образом мысль этого великого человека будет потеряна для потомства вследствие трусости или самонадеянности небрежного цензора. Я бы мог указать, к какому автору и к какой книге<sup>25</sup>, точное опубликование которой имело величайшую важность, было применено такого рода насилие, но оставляю это для более подхо-

дящего времени. Если же на это не обратят серьезного и своевременного внимания те, кто имеет в своем распоряжении средство помощи, и подобная ржавчина будет иметь власть выедавать избраннейшие мысли из лучших книг, совершая такого рода вероломство над осиротелым наследием достойнейших людей после их смерти, то много печали предстоит испытать несчастному роду людскому, на свое несчастье обладающему разумом. Отныне пусть ни один человек не ищет знания или не стремится к большему, чем то дает мирская мудрость, ибо отныне быть невеждой и ленивцем в высших материях, быть обыкновенным тупоголовым неучем поистине — единственное средство прожить жизнь приятно и в чести.

И если цензура является чрезвычайным неуважением к каждому ученому при его жизни и в высшей степени оскорбительной для сочинений и могил умерших, то, по моему мнению, она является также унижением и поношением всей нации. Я не могу так низко ставить изобретательность, искусство, остроумие и здравую серьезность суждений англичан, чтобы допустить возможность сосредоточения всех этих качеств всего в двадцати, хотя бы и в высшей степени способных господах; еще менее я могу допустить, чтобы названные качества могли проявляться не иначе, как под верховным наблюдением этих двадцати, и поступать в обращение не иначе, как при условии просеивания и процеживания через их цедилки, с их рукоприкладством. Истина и разум не такие товары, которые можно монополизировать и продавать под ярлыками, по уставам и образцам. Мы не должны стремиться превратить все знание нашей страны в товар, накладывая на него клейма и выдавая торговые свидетельства, подобно тому, как мы делаем это с нашими сукнами и тюками с шерстью. Разве это не то же, что наложенное филистимлянами рабство, когда нам не позволяют точить своих собственных топоров и плугов, а обязывают нести их со всех кварталов в двадцать разрешительных кузниц?

Если бы кто-нибудь написал и обнародовал что-либо ложное и соблазнительное для частной жизни, обманывая тем доверие и злоупотребляя уважением, которое люди питали к его уму; если бы по обвинении его было принято решение, что отныне он может писать только после предварительного просмотра специального чиновника, дабы последний удостоверил, что после цензуры его сочинение можно читать безвредно, то на это нельзя было бы смотреть иначе, как на позорящее наказание. Отсюда ясно, как унижительно подвергать всю

нацию и тех, кто никогда не совершал подобных проступков, столь недоверчивому и подозрительному надзору. Должники и преступники могут разгуливать на свободе, без надзирателя, безобидные же книги не могут появиться в свет, если не видно тюремщика на их заглавном листе. Даже для простого народа это — прямое оскорбление, так как простирать свои заботы о нем до того, чтобы не сметь доверить ему какого-нибудь английского памфлета, не значит ли считать его за народ безрассудный, порочный и легкомысленный, — народ, который находится в болезненном и слабом состоянии веры и разума и может лишь плясать под дудку цензора? Мы не можем утверждать, что в этом проявляется любовь или попечение о народе, так как и в странах папизма, где мирян всего более ненавидят и презирают, по отношению к последним применяется та же строгость. Мудростью мы также не можем назвать это, так как подобная мера препятствует лишь злоупотреблению свободой, да и то плохо: испорченность, которую она старается предотвратить, через другие двери, которых запереть нельзя, проникает скорее.

В конце концов, это бесчестит и наше духовенство, так как от его трудов и знаний, пожинаемых паствой, мы могли бы ожидать большего, чем получается при цензуре: выходит, что, несмотря на просвещение светом Евангелия, которое есть и пребудет, и постоянные проповеди, его паства представляет собой такую беспринципную, неподготовленную и чисто мирскую толпу, которую дуновение каждого нового памфлета может отвлечь от катехизиса и христианского пути. Пастырей должно сильно смущать, если об их поучениях и получаемой от того пользе слушателей имеется столь невысокое представление, что последних не считают способными прочесть на свободе, без указки цензора, хоть три печатных страницы; если все речи, все проповеди, которые произносятся, печатаются и продаются в таком числе и объеме, что делают в настоящее время почти невозможной продажу всех других книг, оказываются недостаточно крепким оплотом против одного какого-нибудь энхиридиона, когда нет замка св. Ангела в виде *imprimatur'a*.

И если бы кто-нибудь стал убеждать вас, лорды и общины, что все эти рассуждения об угнетении ученых людей законом о цензуре представляют собой лишь цветы красноречия, а не действительность, то я мог бы рассказать вам, что видел и слышал сам в других странах, где существует подобного рода тирания инквизиции. Когда я жил сре-

ди ученых людей тех стран (мне досталась эта честь), то они провозгласили меня счастливым за то, что я родился в таком крае философской свободы, каким они считали Англию, тогда как сами они должны были лишь оплакивать рабское состояние своей науки, оплакивать, что это рабство помрачило славу итальянского гения, что за последние годы в Италии не написано ничего, кроме льстивых и высокопарных сочинений. Как раз в это время я отыскал и посетил славного Галлилея, глубокого старца, который был брошен инквизицией в тюрьму за то, что держался в астрономии иных взглядов, чем францисканские и доминиканские цензоры. И хотя я знал, что Англия в то время громко стенала под игом прелатов, уверенность других народов в ее свободе я все же принял как залог ее будущего счастья.

Тогда я еще и не думал, что ее воздухом уже дышат достойнейшие люди, ее будущие освободители, о деянии которых не заставит забыть никакая превратность времени и самый конец этого мира. Когда началась эта освободительная борьба, я менее всего опасался, что жалобы, слышанные мною от ученых людей других стран по поводу инквизиции, мне придется, в эпоху парламента, услышать от ученых людей своей родины по поводу закона о цензуре. И жалобы эти были настолько распространенными, что когда я сам присоединил свой голос к общему недовольству, то — могу сказать, если только не вызову нареканий — сицилийцы побуждали против Верреса человека<sup>26</sup>, заслужившего их уважение своим честным квесторством, не с такой силой, как доброе мнение обо мне людей, уважающих вас, известных и уважаемых вами, побуждало меня, путем просьб и убеждений, не отчаиваться и высказать все, что правый разум внушит мне в пользу уничтожения незаслуженного рабства науки.

Многое можно привести в пользу того, что в данном случае выразилось не отдельное настроение, а общая печаль всех, кто образовал свой ум и наполнил его знаниями выше обычного уровня, чтобы помогать другим получать истину и самому воспринимать ее от других. Во имя их ни перед другом, ни перед врагом не скрою общего недовольства. В самом деле, если мы опять возвращаемся к инквизиции и цензуре, если мы до того относимся трусливо к самим себе и подозрительно ко всем прочим, что боимся каждой книги и шелеста каждого листа, даже еще не зная их содержания; если люди, которым недавно было почти запрещено проповедовать, теперь будут в состоянии запрещать нам всякое чтение, кроме удобного им, то в результате полу-

чится не что иное, как новая тирания над наукой; и скоро будет бесспорным, что епископы и пресвитеры — для нас одно и то же, как по имени, так и по существу.

Зло от прелатства, которое ранее из 25 или 26 епархий ложилось равномерно на весь народ, теперь, несомненно, ляжет исключительно на науку, так как теперь пастор из какого-нибудь маленького невежественного прихода внезапно получит сан архиепископа над обширным книжным округом: мистический собиратель бенефиции, он не покинет своего прежнего прихода, а присоединит к нему новый. Тот, кто еще недавно восставал против единоличного посвящения каждого новичка-бакалавра и единоличной юрисдикции над самым простым прихожанином, теперь у себя дома, в своем кабинете, будет применять и то и другое по отношению к достойнейшим и превосходнейшим книгам и способнейшим авторам, их написавшим. Это не значит соблюдать наши договоры и торжественные клятвы! Это не значит уничтожить прелатство, а лишь изменить форму епископства; это значит только перенести митрополичий дворец из одной области в другую; это — лишь старая каноническая уловка перемены епитимий. Пугаться заблаговременно простого нецензурированного памфлета — значит вскоре начать пугаться каждого сборища, а затем, немного погодя, и в каждом христианском собрании видеть сборище.

Но я уверен, что государство, руководимое правилами справедливости и твердости, и церковь, заложенная и построенная на камне веры и истинного знания, не могут быть так малодушны. В то время, когда религиозные вопросы еще не решены, ограничение свободы печати способом, заимствованным у прелатов, а последними у инквизиции, чтобы вновь заточить нас в совесть цензора, должно, разумеется, послужить поводом к сомнению и унынию для ученых и религиозных людей, которые не могут не понимать коварства подобной политики и не знать, кто ее изобретатели. Когда было предположено низвергнуть епископов, вся печать могла говорить открыто; во время парламента это было прирожденное право и привилегия народа, это была заря нового дня.

Но теперь, когда епископы устранены и изгнаны из церкви, епископские искусства расцветают вновь, как будто наша реформация имела лишь в виду на место одних посадить других, под новыми именами; сосуд истины опять не должен источать масла; свобода печати опять должна быть порабощена комиссии из двадцати прелатов; при-

вилегия народа уничтожена, и, что еще хуже, свобода науки опять должна стелаться, заключенная в свои старые цепи; и все это в то время, когда парламент еще заседает! Между тем его собственные недавние рассуждения и борьба с прелатами могли бы ему напомнить, что подобные насильственные стеснения приводят, по большей части, к результатам совершенно противоположным намеренной цели: вместо уничтожения сект и ересей, они их усиливают и облачают славой. «Наказание талантов увеличивает их авторитет, — говорит виконт Сент-Албанский, — и запрещенное сочинение почитается верной искрой истины, которая летит в лицо тех, кто старается ее затоптать». Таким образом, закон о цензуре, являясь родной матерью для всякого рода сект, оказывается, как я легко покажу, мачехой для истины, и прежде всего тем, что делает нас неспособными сохранить уже приобретенные нами знания. Кто привык наблюдать, хорошо знает, что наша вера и знания развиваются от упражнения, так же как наши члены и наше телосложение. Истина сравнивается в Писании с текущим источником; если его воды не находятся в постоянном движении, то они застаиваются в тинистое болото однообразия и традиции. Можно быть еретиком и в истине; и если кто-нибудь верит лишь потому, что так говорит пастор, или потому, что так постановляет собрание, помимо всяких других оснований, то, хотя бы вера его и была истинной, настоящая истина все же становится его ересью. Для иных людей нет тяжести, которую бы они столь охотно свалили с себя на другого, как бремя религии и заботы о ней. Существуют — кто не знает этого? — протестанты и профессора, которые живут и умирают в такой же ложной и слепой вере, как какой-нибудь мирянин-папист из Лоретто<sup>27</sup>.

Богатый человек, преданный своим наслаждениям и выгодам, считает религию запутанной торговой операцией, требующей такой массы мелких счетов, что ввиду всех ее тайн он никак не может ухитриться открыть лавочку для подобной торговли. Что же ему делать? Он бы охотно получил имя религиозного человека, охотно стал бы соперничать в этом со своими соседями. Ему ничего не остается поэтому, как отказаться от хлопот и найти себе какого-нибудь комиссионера, попечению и заботливости которого он бы мог поручить ведение своих религиозных дел, — какое-нибудь известное и уважаемое духовное лицо. Он прилепляется к последнему и предоставляет ему в распоряжение склад своих религиозных товаров, со всеми замками и ключами; мало того, он отождествляет этого человека с самой религи-

ей и считает свой союз с ним достаточным доказательством и рекомендацией своего благочестия. Таким образом, он может сказать, что его религия находится уже не в нем, а стала отдельной движимостью, которая приближается к нему по мере того, как тот достопочтенный муж вступает в его дом. Он беседует с последним, одаряет его, угощает, дает у себя приют; его религия приходит на ночь к нему домой, молится, хорошо ужинает, с удобством ложится спать; на другой день она встает, получает приветствия, угощается мальвазией или другим каким-либо вкусным напитком и, позавтракав сытнее, чем Тот, Кто между Вифанией и Иерусалимом утолил свой утренний голод незрелыми смоквами, выходит в восемь часов из дому, оставляя своего приветливого хозяина торговать весь день в лавке уже без своей религии.

Существует другой сорт людей, которые, слыша, что все подчиняется законам, правилам и уставам, что ничего не должно быть написано иначе, как пройдя через таможенную, под наблюдением соответствующих досмотрщиков, заведующих сбором пошлин с меры и веса всякой свободно высказанной истины, прямо желают отдать себя в ваши руки, дабы вы им выкроили и соорудили религию по вашему усмотрению: тогда они будут наслаждаться, будут устраивать пиры и веселые забавы, которые наполнят их день от восхода до захода солнца, превращая скучный год в сладкий сон. Какая им нужда ломать свои собственные головы над тем, о чем другие заботятся столь тщательно и неизменно? Вот какие плоды принесут народу неподвижный покой и остановка в науках. Как хорошо и как желательно было бы столь примерное единодушие! К какому прекрасному однообразию привело бы оно всех нас! Образовалось бы, без сомнения, такое прочное и крепкое сооружение, какое может создать только январский мороз.

Не лучшие результаты получатся и для самого духовенства: далеко не нова и не в первый раз высказывается мысль, что приходский священник, имеющий доход и достигший геркулесовых столбов в виде тепленькой бенефиции, если только у него нет никаких других побуждений к занятиям, весьма склонен завершить свое поприще английским библейским словарем и фолиантом, состоящим из общих мест, достижением и сохранением солидной ученой степени, «гармонией» и «катеной»<sup>28</sup>, которые протаптывают неизменный круг общепринятых ученых глав, с их обычными применениями, мотивами,

примечаниями и приемами; из них, как из алфавита или гаммы, образующая и преобразующая, соединяя и разъединяя различными способами, при небольшой ловкости в обращении с книгами и подумав два часа, он может извлечь запас для исполнения обязанности проповедника более чем на неделю, не говоря уже о бесчисленных вспомогательных средствах в виде подстрочников, требников, обзрений и прочего бесполезного вздора. Что же касается массы напечатанных и нагроможденных целыми кучами готовых проповедей на всякий нетрудный текст, то наша лондонская приходская торговля св. Фомы вместе с торговлей св. Мартина и св. Гуго не изготовили в своих освященных пределах большого количества продажного товара всякого сорта; благодаря этому, приходскому священнику нечего бояться недостатка в проповеднических запасах; он всегда найдет, откуда обильно пополнить свой амбар. Но если его тыл и фланги не загорожены, а потайной выход не защищен строгим цензором, если время от времени могут появляться в свет смелые книги и делать нападения на некоторые из его прежних засевавших в траншеях коллекций, то ему приходится быть наготове, стоять на страже, ставить караулы и часовых вокруг своих установившихся мнений, устраивать со своими товарищами дозорные обходы и контробоходы, из опасения как бы кто-нибудь из его паствы не был введен во грех и не оказался более осведомленным, опытным и образованным. Да пошлет Господь, чтобы страх перед необходимостью подобного усердия не побудил нас усвоить нерадивость цензурующей церкви!

Ибо, если мы уверены в своей правоте и не считаем истину преступной, чего не подобает делать, раз мы сами не судим наше собственное учение как слабое и легкомысленное, а народ как толпу, бродящую во тьме невежества и неверия, то что может быть прекраснее, когда человек рассудительный и ученый, обладающий, насколько мы знаем, столь же чуткой совестью, как совесть людей, давших нам все наши познания, будет выражать свое мнение, приводить доводы и утверждать неправильность существующих взглядов не тайным образом, переходя из дома в дом, что гораздо опаснее, а открыто, путем обнародования своих сочинений? Христос ссылался в свое оправдание на то, что он проповедовал публично; но письменное слово еще более публично, чем проповедь, а опровергать его, в случае нужды, гораздо легче, так как существует много людей, единственным занятием и призванием которых является борьба за истину; если же они отказы-

ваются от этого, то в том виноваты исключительно их леность или неспособность.

Так, цензура препятствует истинному знанию того, что мы знаем лишь по-видимому, и отучает нас от него. Насколько она препятствует и вредит самим цензорам, при исполнении ими своих обязанностей — и притом больше, чем любое светское занятие, если только они будут отправлять свою цензорскую должность как следует, по необходимости делая упущение либо в том, либо в другом занятии, — на этом останавливаться я не буду, так как это их частное дело, решение которого предоставляется их собственной совести.

Кроме всего сказанного выше, следует указать еще на невероятные потери и вред, какие цензурные ковы причиняют нам в большей степени, чем если бы враг обложил с моря все наши гавани, порты и бухты: эти ковы останавливают и замедляют ввоз самого драгоценного товара — истины. Ведь цензура была впервые установлена и введена в практику противохристианской злобой и стремлением к тайне или же ставила себе задачей по возможности затушить свет реформации и водворить неправду, мало чем отличаясь в данном случае от той политики, при помощи которой турки охраняют Алкоран, запрещая книгопечатание. Мы должны не отрицать, а радостно сознаваться, что громче других народов воссылали к Небу наши молитвы и благодарения за ту высокую меру истины, которой наслаждаемся, особенно в важных пунктах столкновения между нами и папой, с его приспешниками-прелатами. Однако тот, кто думает, что мы можем на этом месте разбить свои палатки для отдыха, что мы достигли крайних пределов реформации, какие только может показать нам тленное зеркало, в которое мы смотрим, пока не получили способности блаженного созерцания, — тот обнаруживает этим, как он далек еще от истины.

Ведь истина снизошла однажды в мир вместе со своим Божественным Учителем, являя свою совершенную форму, прекраснейшую для взоров. Но когда Он вознесся на небо и упокоились вслед за Ним и Его апостолы, тогда сейчас же появилось нечестивое поколение людей, которые схватили девственную истину, разрубили ее прекрасное тело на тысячу частей и разбросали их на все четыре ветра, подобно тому как, по рассказам, египетский Тифон и заговорщики поступили с добрым Осирисом<sup>29</sup>. С тех пор печальные друзья истины, те, которые осмеливаются выступать открыто, ходят повсюду и собирают воедино ее члены, где бы ни нашли их, подобно Изиде, заботли-

во отыскивавшей разбросанные члены Осириса. Мы еще далеко не все отыскивали их, лорды и общины, и не отыщем до второго пришествия ее Учителя; Он соберет воедино все ее суставы и члены и создаст из них бессмертный образ красоты и совершенства. Не позволяйте же цензурным запрещениям становиться на всяком удобном месте, чтобы задерживать и тревожить тех, кто продолжает искать, продолжает совершать погребальные обряды над раздробленным телом нашего святого мученика.

Мы гордимся своим светом; но если мы неблагоприятно взглянем на солнце, то оно ослепит нас. Кто может рассмотреть те часто сторающие планеты и те сияющие величием звезды, которые выходят и заходят вместе с солнцем, прежде чем противоположное движение их орбит не приведет их на такое место небесного свода, где их можно видеть утром или вечером? Свет, полученный нами, был дан нам не для того, чтобы непрерывно приковывать наш взор, а затем, чтобы при его помощи открывать вещи, более отдаленные для нашего познания. Не лишение священников сана, епископов митры, не снятие епископского достоинства с плеч пресвитериян сделает нас счастливым народом; нет, если не будет обращено внимание на другие вещи, столь же важные как для церкви, так и для экономической и политической жизни, если здесь не будут произведены надлежащие реформы, то мы, очевидно, так долго смотрели на путеводный огонь, зажженный перед нами Цвингли и Кальвином, что стали совершенно слепыми.

Существуют люди, которые постоянно жалуются на расколы и секты и считают большим бедствием, что некоторые не согласны с их убеждениями. Этим людей смущают их невежество и гордость; они не хотят спокойно выслушать, не могут действовать убеждением и готовы уничтожить все, чего нет в их синтагме<sup>30</sup>. И если кто сеет смуты и вносит раздоры, так это именно они, так как не желают сами и не позволяют другим присоединять к телу истины оторванные и недостающие у нее части. Постоянно отыскивать неизвестное при помощи известного, постоянно присоединять истину к истине, по мере ее нахождения (ибо все тело ее однородно и пропорционально), — таково золотое правило, как в теологии, так и в арифметике; только оно может внести совершенную гармонию в церковь, а не насильственное и внешнее соединение холодных, равнодушных и внутренне чуждых друг другу душ.

Лорды и общины Англии! Подумайте, к какой нации вы принадлежите и какой нацией вы управляете: нацией не ленивой и тупой, а подвижной, даровитой и обладающей острым умом; изобретательной, тонкой и сильной в рассуждениях, способной подняться до высочайших ступеней человеческих способностей. Поэтому ее познания в глубочайших науках столь давни и столь превосходны, что, по мнению весьма древних и основательных писателей, даже пифагорейская философия и персидская мудрость берут свое начало от старой философии нашего острова<sup>31</sup>. А мудрый и образованный римлянин Юлий Агрикола, который однажды правил здесь вместо Цезаря, предпочитал природный ум британцев трудолюбивым изысканиям французов.

Не лишено также значения то обстоятельство, что серьезные и умеренные трансильванцы посылают к нам ежегодно со своих отдаленнейших гор, граничащих с Россией, и еще дальше, из-за Герцинской пустыни<sup>32</sup>, не только свою молодежь, но и людей почтенного возраста для изучения нашего языка и богословских наук. Но всего важнее для нас иметь прочное основание думать, что благоволение и любовь Неба особенно милостиво и благосклонно покоятся на нас. Разве не избранник перед другими тот народ, от которого, как с Сиона, идут и разносятся по всей Европе первые вести и трубный глас реформации? И если бы не тупая злоба наших прелатов по отношению к божественному и изумительному гению Уиклифа, который был осужден как еретик и новатор, то, быть может, никогда не были бы известны ни богемский Гусс и Иероним, ни имена Лютера и Кальвина: слава религиозной реформы у всех наших соседей всецело принадлежала бы нам. Теперь же, так как наше очерствевшее духовенство сурово отнеслось к делу реформации, мы очутились в положении самых последних и отсталых учеников тех, для кого Бог предназначил нас быть учителями.

А в настоящее время, если судить по совокупности всех предзнаменований и общему предчувствию святых и благочестивых мужей, ежедневно торжественно высказывающих свои мысли, — Бог решил начать некий новый и великий период в своей церкви — реформацию самой реформации. Почему же не открыться Ему рабам своим, и прежде всего, как Он всегда делал, нам — англичанам? Я говорю: «Прежде всего нам, как Он всегда делал», хотя мы и не следуем Его заповедям и не достойны этого. Посмотрите на этот обширный город, город — убежище и жилище свободы, обведенный крепкой

стеной Его защиты: в военных мастерских здесь не работают больше наковальни и молоты, чтобы выковать доспехи и орудия вооруженной справедливости для защиты осажденной истины; этому служат теперь перья и головы тех, кто при свете своих труженических лампад размышляет, изыскивает, вырабатывает новые понятия и идеи, дабы одарить ими, в знак своей преданности и верности, приближающуюся реформацию; а другие столь же прилежно читают, все испытуют, подчиняются силе разума и убеждения.

Чего же больше можно требовать от такого гибкого и склонного к поискам знания народа? Что нужно для этой удобной и плодородной почвы, кроме мудрых и честных работников, дабы создать образованных людей, нацию пророков, мудрецов и достойнейших мужей? Мы считаем более пяти месяцев до жатвы, но всякий, имеющий глаза, может видеть, что не нужно и пяти недель, чтобы поля уже пожелтели. Где много желающих учиться, там по необходимости много спорят, много пишут, высказывают много мнений, ибо мнение у хорошего человека есть знание в процессе образования. Из фантастического страха перед сектами и ересями мы поступаем несправедливо с пламенной и искренней жаждой знания и разума, которую Бог возбудил у этого города. Что некоторые оплакивают, тому мы должны были бы радоваться; мы должны были бы скорее восхвалять это благочестивое стремление людей вновь взять в свои руки заботу о своей религии, попавшей в руки плохих уполномоченных. Сколько-нибудь благородная мудрость, сколько-нибудь снисходительное отношение друг к другу и хоть сколько-нибудь любви к ближнему могли бы соединить и объединить в одном общем и братском искании истины всех преданных ей; мы должны только отказаться для этого от традиции прелатов втискивать свободную совесть и христианские вольности в человеческие каноны и правила. Я не сомневаюсь, что если бы к нам явился какой-нибудь великий и достойный иностранец, могущий понять дух и настроение народа и способный управлять им, то он, узнав наши высокие надежды и цели, увидев неутомимую живость и широту наших мыслей и суждений при искании истины и свободы, подобно Пирру, изумленному римским послушанием и мужеством, воскликнул бы: «Если бы таковы были мои эпироты, то я не отчаивался бы в достижении величайшей цели — сделать церковь или государство счастливыми!»

А между тем этих людей во всеуслышание провозглашают раскольниками и сектантами, что равносильно тому, как если бы во время постройки храма Господня, когда одни пилили, другие обтесывали мрамор, третьи срубали кедры, нашлись неразумные люди, не способные понять, что нужно было сделать много расколов, много рассеков в камнях и строевом лесе, прежде чем дом Господень мог быть окончен. И как бы искусно мы ни прилаживали камни один к другому, они не могут соединиться в одно непрерывное целое: в этом мире они могут лишь соприкасаться друг с другом; не может также каждая часть постройки иметь одну форму; совершенство состоит скорее в том, что из многих умеренных различий и братских несходств, не препятствующих пропорциональности целого, возникает привлекательная и изящная симметрия, господствующая во всей постройке и в расположении ее частей.

Будем поэтому в ожидании великой реформации, более рассудительными строителями, более мудрыми в духовной архитектуре. Ибо теперь, по-видимому, настало время, когда великий пророк Моисей может радостно видеть с небес исполнение своего достопамятного и славного желания, так как не только наши семьдесят старейшин, но и весь народ Господень стали пророками. Не удивительно поэтому, если некоторые люди — и притом, быть может, люди благочестивые, но неопытные в деле благочестия, каким был во времена Моисея Иисус Навин, — завидуют им. Они сетуют и по своей собственной слабости пребывают в смертельном страхе перед тем, как бы эти деления и подразделения не погубили нас. Враги же, напротив, радуются и выжидают удобного часа, говоря себе: когда они разобьются на небольшие партии и группы, тогда наступит наше время. Глупцы! Они не замечают того крепкого корня, от которого мы все произросли, хотя и в несколько побегов, и не хотят остерегаться, пока не увидят, как наши небольшие и раздробленные отряды врежутся со всех углов в их плохо объединенные и неповоротливые бригады. В том же, что мы должны ожидать от всех этих сект и ересей лучшего, что мы не нуждаемся в чрезвычайно трусливом, хотя бы и честном, беспокойстве тех, кто тревожится этим, что в конце концов мы будем смеяться над злостной радостью по поводу наших разногласий, — в сказанном убеждают меня следующие основания.

Во-первых, если город осажден и обложен со всех сторон, его судоходная река отведена, кругом происходят набеги и нападения,

приходят частые вести о вызовах и битвах у самых его стен и подгородных окопов; и если тем не менее народ или значительнейшая часть его, всецело занятый высочайшими и важнейшими вопросами реформы, более чем в другое время спорит, рассуждает, читает, изобретает, держит речи о том, о чем прежде не рассуждали и не писали, являя тем редкую энергию и приводя в изумление, то подобный народ обнаруживает прежде всего чрезвычайно добрую волю, свое довольство и доверие к вашей мудрой осторожности и надежному управлению, лорды и общины! Отсюда сами собой рождаются доблестное мужество и сознательное презрение к врагам, подобно тому как если бы между нами было немало великих душ, как душа того, кто, находясь во время ночной осады Рима Ганнибалом в городе, купил за дорогую цену участок земли, на котором Ганнибал расположился лагерь.

Затем существует одно живое и бодрящее предзнаменование нашего счастливого успеха и победы. Если кровь в теле свежа, если силы чисты и деятельны не только в телесных, но и в умственных способностях, особенно же в самых острых и смелых действиях утонченного ума, это доказывает, как хорошо состояние и сложение тела; точно так же если жизнерадостность народа до такой степени бьет ключом, что у него есть не только то, чем он может обеспечить свою свободу и безопасность, но и то, что он может отложить и потратить на важнейшие и возвышеннейшие предметы спора и новых открытий, это значит, что наш народ не выродился и не обречен на роковую гибель, так как, сбросив с себя старую сморщенную кожу испорченности и пережив связанные с этим страдания, он вновь сделался молодым, вступив на славные стези правды и счастливой добродетели, предназначенный к величию и почету в эти позднейшие времена. Мне кажется, будто перед моими умственными взорами встает славный и могучий народ, подобно сильному мужу, мгновенно стряхивающий с себя сон и потрясающий своими непобедимыми кудрями; мне кажется, я вижу его подобным орлу, вновь одетому оперением могучей молодости, воспламеняющим свои зоркие глаза от полуденного солнца, очищающим и просветляющим свое долго помраченное зрение в самом источнике небесного света; а той порой целая стая птиц, испуганных, сбившихся в кучу, вместе с птицами, которые любят сумрак, мечется вокруг, со страхом взирая на его намерения и с завистливым шумом предсказывая годину сект и расколов.

Что же вы будете делать, лорды и общины? Наложите ли вы гнет на всю эту цветущую жатву знания и нового света, которая возшла и теперь еще всходит каждый день в нашем городе? Учредите ли вы над ней олигархию двадцати скупщиков, тем вновь заставите голодать наши умы, лишив нас возможности знать что-либо сверх того, что они отмеряют своею мерою? Верьте, лорды и общины, что те, кто советуют вам подобное угнетение, предлагают вам угнетать самих себя, и я покажу сейчас, каким образом. Если бы кто-нибудь пожелал узнать, почему у нас господствует свобода как в письменном, так и устном слове, то нельзя было бы указать другой, более достоверной и непосредственной причины, чем ваше мягкое, свободное и гуманное правление. Лорды и общины, ваши доблестные и удачные советы оберегали нам свободу; свобода — вот кормилица всех великих талантов: она, подобно наитию свыше, очистила и просветила наши души; она сняла оковы с нашего разума, расширила его и высоко подняла над самим собой. Вы не можете сделать нас теперь менее способными, менее знающими, менее ревностными в искании истины, если вы сами, кому мы всем этим обязаны, не станете меньше любить и насаждать истинную свободу. Мы можем опять стать невеждами, глупцами, людьми, гоняющимися за формой, рабами, какими вы нашли нас; но ранее вы сами должны стать — а вы этого не можете — угнетателями, притеснителями, тиранами, каковы были те, от кого вы нас освободили. Если наши сердца стали более восприимчивы, наши умы более склонны к исканию и ожиданию величайших и высочайших истин, это плод вашей собственной добродетели, посеянной в нас; и вы не можете уничтожить этого, если насильно не введете вновь давно отмененный жестокий закон, на основании которого отцы могли произвольно убивать своих детей. Кто же тогда тесно примкнет к вам и воспламенит других? Не тот, кто поднимает оружие из-за герба, предводительства и из-за своих четырех ноблей данегельта<sup>33</sup>. Я не отрицаю справедливых льгот, но прежде всего дорожу своим собственным миром. Дайте мне поэтому свободу знать, свободу выражать свои мысли, а самое главное — свободу судить по своей совести.

Что посоветовать как лучшую меру в том случае, если будет признано вредным и несправедливым преследовать мнения за их новизну или несоответствие общепринятым взглядам, это не входит в мою задачу. Я повторю только то, что узнал от одного из уважаемых ваших сочленов, одного поистине благородного и благочестивого

лорда, которого мы не потеряли бы в настоящее время и не оплакивали бы как достойного и несомненного судью в этом деле, если бы он не отдал свою жизнь и имущество на служение церкви и государству. Я уверен, что вы догадываетесь, о ком идет речь, но, чтобы почтить его память — и да будет почет этот вечным — я назову его имя: лорд Брук<sup>34</sup>. В своем сочинении о епископстве, где он касается, между прочим, сект и ересей, он оставил нам свой завет или, вернее сказать, последние слова своей предсмертной заботы, которые, я не сомневаюсь, навсегда останутся для вас дорогими и почтенными: они полны такой кротости и живой любви к ближнему, что, наряду с последним заветом Того, Кто дал своим ученикам заповедь любви и мира, я не слышал и не читал слов более кротких и миролюбивых.

Он увещевает нас с терпением и кротостью выслушивать людей, хотя и пользующихся дурной славой, но желающих жить чисто, исполняя заповеди Божии согласно велениям своей совести, и относиться к ним с терпимостью, хотя бы они и не во всем были согласны с нами. Обо всем этом гораздо подробнее расскажет нам сама его книга, которая выпущена в свет и посвящена парламенту, — посвящена человеком, заслужившим своей жизнью и смертью того, чтобы преподаваемые им советы не были оставлены без внимания.

Теперь как раз именно время писать и говорить по преимуществу о том, что может помочь дальнейшему выяснению вопросов, волнующих нас. Храм двуликого Януса было бы далеко не лишним открыть именно теперь. И пусть все ветры разносят беспрепятственно всякие учения по земле: раз истина выступила на борьбу, было бы несправедливо путем цензуры и запрещений ставить преграды ее силе. Пусть она борется с ложью: кто знает хотя один случай, когда бы истина была побеждена в свободной и открытой борьбе? Ее правое слово — лучший и вернейший способ победы над ложью. Тот, кто слышит, как у нас молятся о ниспослании нам света и ясного знания, может подумать, что женевского учения, переданного в наши руки уже в готовом и стройном виде, недостаточно и что оно должно быть чем-нибудь восполнено.

Однако когда новый свет, о котором мы просим, светит нам, появляются люди, завистливо противящиеся тому, чтобы свет этот попал прежде всего не в их окна. Мудрые люди учат нас усердно, днем и ночью «искать мудрости, как сокровитого сокровища», а между тем другое распоряжение запрещает нам знать что-нибудь не по статуту;

как же согласить это? Если кто-нибудь после тяжелого труда в глубоких рудниках знания выходит оттуда во всеоружии добытых им результатов, выставляет свои доводы, так сказать, в боевом порядке, рассеивает и уничтожает все стоящие на его пути возражения, зовет своего врага в открытый бой, предоставляя ему, по желанию, выгоды положения относительно солнца и ветра, лишь бы он мог разбираться в вопросе при помощи аргументации, то подстергать в таком случае своего противника, устраивать ему засады, занимать узкие мосты цензуры, через которые должен пройти противник, — все это, служа достаточным доказательством храбрости военного люда, в борьбе за истину было бы лишь слабостью и трусостью. Ибо, кто же не знает, что истина сильна почти как Всемогущий? Для своих побед она не нуждается ни в политической ловкости, ни в военных хитростях, ни в цензуре; все это — уловки и оборонительные средства, употребляемые против нее заблуждением: дайте ей только простор и не заковывайте ее, когда она спит, ибо она не говорит тогда правды, как то делал старый Протей, который изрекал оракулы лишь в том случае, если его схватывали и связывали; она принимает тогда всевозможные образы, кроме своего собственного, а иногда голос ее звучит, применяясь ко времени, как голос Михея перед Ахавом, пока ее не вызовут в ее собственном образе.

Но ведь возможно, что у нее может быть не один образ. В противном случае, как смотреть на все эти безразличные вещи, в которых истина может находиться на любом месте, не переставая быть сама собой? В противном случае, что такое, как не пустой призрак, уничтожение «тех приказов, которые пригвождали рукописи ко кресту»? В чем особое преимущество христианской свободы, которую так часто хвалил апостол Павел? По его учению, человек, постится он или нет, соблюдает субботу или не соблюдает — и то и другое может делать в Боге. Сколь многое еще можно было бы переносить с мирной терпимостью, предоставляя все совести каждого, если бы только мы обладали любовью к ближнему и если бы главной твердыней нашего лицемерия не было стремление судить друг друга! Я боюсь, что железное иго внешнего однообразия наложило рабскую печать на наши плечи, что дух бесцветной благопристойности еще пребывает в нас. Нас смущает и беспокоит малейшее разногласие между конгрегациями даже по второстепенным вопросам; а в то же время, вследствие своей ревности в притеснениях и медлительности в освобождении по-

рабоченной части истины из тисков традиции, мы нерадиво держим истину отдельно от истины, что является самым жестоким из всех разделений и разъединений. Мы не замечаем, что, стремясь всеми силами к строгому внешнему формализму, опять возвращаемся в состояние грубости и невежества, в неподвижную, мертвую, скованную и застывшую массу из «дров, сена и соломы», которая гораздо более будет способствовать внезапному вырождению церкви, чем множество незначительных ересей.

Я говорю это не потому, чтобы считал хорошим каждый легкомысленный раскол или чтобы смотрел на все в церкви как на «золото, серебро и драгоценные камни»: для человека невозможно отделить пшеницу от плевел, хорошую рыбу от прочего улова; это должно быть делом ангела при конце света. Но если все не могут держаться одинаковых убеждений, то кто досмотрит, чтобы они таковых держались? В таком случае, без сомнения, гораздо целесообразнее, благоразумнее и согласнее с христианским учением относиться с терпимостью ко многим, чем подвергать притеснениям всех. Я не считаю возможным терпеть папизм, как явное суеверие, которое, искореняя все религии и гражданские власти, само должно поэтому подлежать искоренению, однако не иначе, как испытав предварительно все средства любви и сострадания для убеждения и возвращения слабых и заблудших. Равным образом, ни один закон, который не стремится прямо к незаконию, не может допустить того, что нечестиво или безусловно преступно по отношению к вере или добрым нравам. Но я имею в виду не это, я говорю о тех соседских разногласиях или, лучше сказать, о том равнодушии к некоторым пунктам учения и дисциплины, которые хотя и могут быть многочисленны, но не должны необходимо вести к уничтожению в нас единого духа, если только мы будем в состоянии соединиться друг с другом узами мира.

Между тем если бы кто-нибудь захотел писать и протянуть руку своей помощи медленно подвигающейся реформации, если бы истина открылась ему раньше других или, по крайней мере, по-видимому, открылась, то кто заставляет нас идти по стопам иезуитов и налагать на этого человека обременительную обязанность испрашивать разрешение на столь достойное дело; кто мешает нам обратить внимание на то, что, раз дело дойдет до запрещения, то последнему легко может подвергнуться и сама истина, ибо для наших глаз, омраченных и ослепленных предрассудками и традициями, ее первое появление го-

раздо менее заметно и вероятно, чем многие заблуждения: так, внешность многих великих людей незначительна и невзрачна на вид. И зачем они попусту распространяются о новых мнениях, когда их собственное мнение, что выслушивать следует лишь тех, кто им угоден, есть самое худшее из новшеств, — главная причина возникновения столь обильных у нас ересей и расколов, а также отсутствия истинного знания, не говоря уже о большей опасности подобного взгляда. Ибо когда Господь потрясает государство сильными, но здоровыми потрясениями, с целью всеобщей реформы, то, без сомнения, в это время многие сектаторы и лжеучители находят обильнейшую жатву для соблазна.

Но еще несомненное то, что Бог избирает для своего дела людей редких способностей и необычайного рвения не только затем, чтобы они оглядывались и пользовались уроками прошлого, но также и затем, чтобы они шли вперед по новым путям к открытию истины. Ибо порядок, в котором Господь просвещает свою церковь, таков, что Он раздает и распределяет свой свет постепенно, дабы наше земное зрение могло вынести его наилучшим образом. Господь не определяет и не ограничивает Себя также в том, где и откуда должен быть впервые услышан голос Его избранных; Он смотрит не человеческими очами, избирает не человеческим избранием, дабы мы не связывали себя определенными местами и собраниями и внешней профессией людей, помещая свою веру то в старом доме собраний, то в Вестминстерской часовне; если нет ясного убеждения и христианской любви, воспитанной на терпении, то всей веры и религии, канонизированных там, недостаточно, чтобы исцелить малейшую рану совести, чтобы наставить ничтожнейшего из христиан, который бы захотел жить по духу, а не по букве человеческого долга, — недостаточно, несмотря на все раздающиеся там голоса, хотя бы даже к этим голосам, для увеличения их числа, сам Генрих VII, окруженный всеми своими вассальными мертвецами, присоединил голоса покойников.

И если люди, являющиеся руководителями ереси, заблуждаются, то разве не наша леность, упрямство и неверие в правое дело мешают нам дружески беседовать с ними и дружески расходиться, обсуждая и исследуя предмет перед свободной и многочисленной аудиторией если не ради них, то ради нас самих. Всякий, вкусивший знания, скажет, сколь великую пользу он получал от тех, кто, не довольствуясь старыми рецептами, оказывались способными устанавливать и

проводить в жизнь новые принципы. Если бы даже эти люди были подобны пыли и праху от обуви нашей, то и в таком случае, пока они годны для того, чтобы сделать доспех правды чистым и блестящим, ими не следовало бы пренебрегать совершенно. Но если они принадлежат к числу тех, кого Бог, по нужде этого времени, наделил особо чрезвычайными и обильными дарами, и в то же время не принадлежат, быть может, ни к числу священников, ни к числу фарисеев, а мы, в поспешной ревности, не делая между ними никакого различия, решаем заградить им уста из боязни, как бы они не выступили с новыми и опасными взглядами, то горе нам, так как, думая защищать подобным образом Евангелие, мы становимся его преследователями!

От начала этого парламента немало было лиц, и из пресвитериан, и из других, которые своими книгами, изданными, в знак презрения к *imprimatur*'у без цензуры, пробили тройной лед, скопившийся около наших сердец, и научили народ видеть свет. Я надеюсь, что ни один из них не убеждал возобновить те узы, презирая которые, они совершили столько добра. Но если ни знамение, данное Моисеем юному Навину, ни приказание нашего Спасителя юному Иоанну, который не хотел пускать тех, кого считал нечистыми, недостаточны для того, чтобы убедить наших старейшин, сколь неужодна Господу их угрюмая склонность к запрещениям; если недостаточны их собственные воспоминания о том, как много зла было от цензуры и как много добра они сделали, пренебрегая последней; если они тем не менее хотят навязать нам и выполнить над нами наиболее доминиканскую часть инквизиции и, таким образом, уже стоят одной ногой в стремлении деятельных преследований, то было бы справедливее подвергнуть преследованию прежде всего самих преследователей, так как перемена в положении раздула их гордость в большей степени, чем последний опыт суровых времен научил их мудрости.

Что же касается вопроса о регулировании печати, то пусть никто не думает, будто ему может достаться честь посоветовать вам в этом отношении что-нибудь лучшее, чем вы сами сделали в своем недавнем постановлении, согласно которому «ни одна книга не может быть напечатана иначе, как если будут зарегистрированы имена автора и издателя или, по крайней мере, одного издателя». А для сочинений, появляющихся иным путем, если они будут найдены зловерными или клеветническими, огонь и палач будут наиболее своевременным и действительным средством человеческого предупреждения. Ибо эта

чисто испанская политика цензурования книг, если только я что-либо доказал предыдущими рассуждениями, в самом скором времени обнаружит себя хуже самой недозволенной книги. Она является прямым подобием постановления Звездной палаты, изданного в то время, когда это судилище совершало свои благочестивые деяния, за которые оно вместе с Люцифером изгнано теперь из сонма звезд. Отсюда вы можете понять, сколько государственной мудрости, сколько любви к народу, сколько заботливости о религии и добрых нравах было проявлено в этом постановлении, хотя оно и утверждало с крайним лицемерием, что запрещает книги ради доброго поведения. И когда оно взяло верх над приведенным мною выше столь целесообразным вашим законом о печати, то, если верить наиболее сведущим в силу своей профессии людям, в данном случае можно подозревать обман со стороны некоторых прежних обладателей привилегий и монополий в книжной торговле, которые под видом охраны интересов бедных в своем цехе и аккуратного сохранения многочисленных рукописей (протестовать против чего Боже сохрани!) приводили парламенту разные благовидные предлоги, но именно только предлоги, служившие исключительно цели получения преимущества перед сотоварищами, — людьми, вкладывающими свой труд в почетную профессию, которой обязана вся ученость, не для того, чтобы быть данниками других.

Некоторые же из подававших петицию об издании цензурного закона задавались, по-видимому, другой целью: они рассчитывали, что, имея власть в руках, будут в состоянии легче распространять зловредные книги<sup>35</sup>, как то показывает успешный опыт. Однако в подобного рода софизмах и хитросплетениях торгового дела я не осведомлен; я знаю только, что как хорошие, так и дурные правители одинаково могут ошибаться; ибо какая власть не может быть ложно осведомлена, в особенности если свобода печати предоставлена немногим? Но исправлять охотно и быстро свои ошибки и, находясь на вершине власти, чистосердечные указания ценить дороже, чем иные ценят пышную невесту, это, высокочтимые лорды и общины, — добродетель, соответствующая вашим доблестным деяниям и доступная лишь для людей самых великих и мудрых!

## Примечания

<sup>1</sup> «Ареопагитика, или Речь к английскому парламенту о свободе печати» была написана и опубликована в 1644 г. и направлена против закона о цензуре и системы предварительной цензуры. Мильтон стал фактически родоначальником либертарианской (мильтоновской) концепции прессы. Первый неполный русский перевод «Ареопагитики» был помещен в журнале «Современное Обозрение» (1868. Кн. 5). Печатается по изданию: Мильтон Д. Ареопагитика // Корабли мысли. М., 1980.

<sup>2</sup> Разумеется архиепископ экстерский Голль (Hall, 1574—1656). Он был горячим защитником епископата против пресвитериан и написал, между прочим, «О божественном праве епископства». Мильтон неоднократно полемизировал с Голлем.

<sup>3</sup> Мильтон имеет в виду Areopagitikos Исократ (436—388 до н. э.) — речь, с которой последний обратился к Ареопагу и советовал ему восстановить конституцию Солона.

<sup>4</sup> В революционную эпоху браки совершались гражданским порядком и помимо разрешения со стороны духовенства. Великопостные разрешения — разрешения потреблять рыбную пищу в некоторые дни поста.

<sup>5</sup> Архилох жил в VII в. до н. э. Один из величайших греческих лириков; самый яркий представитель ямбической поэзии; автор многочисленных эротических песен. Упоминаемый несколькими строками выше Талет жил также в VII в.; он был поэтом и музыкантом.

<sup>6</sup> Карнеад Киренский (215—130 гг. до н. э.) в 156 г. до н. э., вместе со стоиком Диогеном и перипатетиком Критолаем, был в Риме, где и произвел сильное впечатление своим умением с одинаковым успехом доказывать противоположные тезисы.

<sup>7</sup> Падре Паоло Сарни (1552—1625) — итальянский историк и публицист. Написал, между прочим, «Историю Тридентского собора».

<sup>8</sup> Пусть печатается (лат.).

<sup>9</sup> Площади (лат.).

<sup>10</sup> Во время Мильтона функции главных цензоров сосредотачивались в руках архиепископа Кентерберийского и епископа лондонского. Это и имеет в виду Мильтон, говоря о двух властных *imprimatur*'ах.

<sup>11</sup> Мильтон имеет в виду Тридентский собор, на котором было предано анафеме учение протестантизма.

<sup>12</sup> Раймунд Луллий (1235-1315) родился в Пальме, главном городе острова Майорки. Хитрая алхимия, о которой говорит Мильтон, это — *An magna Lullii*, нечто вроде машины для фабрикации мыслей: Луллий придумал систему кругов, на которых было обозначено известное число основных понятий; при вращении кругов эти понятия должны были вступать между собой в сочетания, порождая, таким образом, все новые и новые понятия.

<sup>13</sup> То были: Энименид-критянин (Послание к Титу — I, 12), Арат (Деяния — XVII, 28) и Еврипид, по другим Менандр (I К коринфянам — XV, 33).

<sup>14</sup> Аполлинарии, Старший и Младший — последний был с 362 г. епископом лаодикийским в Сирии, — написали эпические поэмы на ветхозаветные сюжеты и диалоги на новозаветные.

<sup>15</sup> Героем приписываемой Гомеру комической поэмы Маргит был маменькин сынок из богатой семьи, который попадает в комические положения, так как берется за все, ничего не умея. Морганте — великан, герой комической поэмы «Morgante Maggoire», написанной итальянским поэтом Пульчи (1432—1487).

<sup>16</sup> Разумеется поэма Спенсера (1553—1599) *Fairy Queen*, ч. II, песнь 7.

<sup>17</sup> «Керн» — техническое выражение для глоссы на полях; «Хетив» — для стоящего в тексте.

<sup>18</sup> Ареццо был родиной итальянского поэта Пьетро Аретино (1492—1557), который вел разгульную жизнь и был известен своими скандальными стихотворениями и едкими сатирами, направленными против сильных мира сего. Был прозван бичом государей.

<sup>19</sup> По-видимому, разумеется кардинал Уольсэй (Wolsey), который при Генрихе VIII в звании лорда-канцлера самовластно управлял Англией.

<sup>20</sup> Арминий (Яков Гармсен) был в 1587 г. проповедником в Амстердаме. Читая, с целью опровержения, сочинение Коригента, который оспаривал учение Кальвина о благодати, Арминий сам был убежден доводами своего противника.

<sup>21</sup> Другими словами, по мнению Мильтона, «Государство» и «Законы» Платона — бесплодные утопии, которые достойны лишь забвения.

<sup>22</sup> «Аркадия» — излюбленное название многих идиллических романов. Монтемайор — испанский писатель (1520—1561), автор знаменитого романа «Диана», положившего начало идиллическому роману.

<sup>23</sup> Имеется в виду Mercurius Aulicus, издававшийся Биркенхедом в 1642—1645 гг. регулярно, а затем — смотря по обстоятельствам. Издание имело целью превозносить короля, его друзей и генералов и поносить и осмеивать сторонников парламента.

<sup>24</sup> Ферула — деревянная или кожаная линейка, которой в старину наказывали школьников.

<sup>25</sup> По-видимому, разумеется посмертное издание *Institutes* знаменитого юриста Кока, впервые напечатанное в 1641 г.

<sup>26</sup> Т. е. Цицерона, который выступил с несколькими речами против Гая Верреса.

<sup>27</sup> Лоретто — город в итальянской провинции Анкона. Известное место паломничества. В соборе находится так называемый «святой дом», в котором будто бы жила св. Дева и который в 1295 г. был перенесен сюда из Назарета.

<sup>28</sup> Библейский словарь — словарь библейских изречений с указанием, где их можно отыскать. «Гармония» — одно из названий гармонистики богословской науки, цель которой — сведение повествований четырех евангелистов в одно связное целое. «Катены» — свод толкований нескольких святых отцов на одну или несколько книг Священного Писания.

<sup>29</sup> Осирис — египетское божество, которому поклонялись главным образом как богу подземного мира. По рассказу Плутарха, он был убит своим злым братом Тифоном, действовавшим вместе с другими 72 богами. Его тело было заключено в гроб и брошено в Нил. Однако Изида, жена Осириса, отыскала тело. Тогда Тифон разрубил его на 14 частей и разбросал по всему Египту, Изида же вновь отправилась на розыски.

<sup>30</sup> Синтагма — канонический сборник, содержащий правила соборов и св. отцов церкви в форме догматических положений.

<sup>31</sup> Очевидно, что «древние и основательные писатели» в данном случае заблуждались.

<sup>32</sup> Герцинская пустыня, Hercynia silva, Harzwald — лес, покрывавший значительную часть Германии между Рейном и Вислой.

<sup>33</sup> Нобль — старинная английская монета. Данегельт — тяжелая подать, налагавшаяся на британцев датскими норманнами во время набегов. Впоследствии это имя сохранилось за чрезвычайными податями, взимавшимися для нужд национальной обороны.

<sup>34</sup> Лорд Брук — английский государственный деятель. Родился в 1554 г. При Елизавете и Якове занимал разные высшие должности. Был умерщвлен в 1628 г. Он был решительным противником епископальной церкви.

<sup>35</sup> Зловредные книги — по-видимому, Мильтон имеет в виду книги роялистского содержания.

## Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. В чем состоит актуальность «Ареопагитики» Дж. Мильтона в цифровую эпоху?
2. Какое влияние оказала «Ареопагитика» Дж. Мильтона на последующее развитие СМИ?
3. Как связано отношение Дж. Мильтона к цензуре и его религиозная картина мира?
4. Какую пользу, по мнению Дж. Мильтона, можно извлечь из чтения дурных книг?
5. Определите отношение Дж. Мильтона к книгам, как результатам интеллектуальной деятельности.
6. Перечислите аргументы Дж. Мильтона в защиту свободы слова и выберите самый убедительный из них.
7. Опишите понимание Дж. Мильтоном плюрализма и его значимости для общественного развития.
8. Перечислите исторические аналогии, которые используются Дж. Мильтоном в «Ареопагитике», и определите, какие аргументы они иллюстрируют.
9. В чем состоит ценность чтения согласно «Ареопагитике» Дж. Мильтона?
10. Как в «Ареопагитике» представлен собирательный образ цензора? Каким отраслям и сферам деятельности согласно Дж. Мильтону цензура наносит наибольший ущерб?

## Даниэль Дефо

### Опыт о проектах

#### Об Академиях<sup>1</sup>

Оных у нас в Англии меньше, нежели в других странах<sup>2</sup>, — в тех, по крайней мере, где ученость ставится столь же высоко. Недостаток сей восполняют, однако, два наших великих питомника знаний, кои, бесспорно, являются крупнейшими, правда, не скажу, лучшими, в Европе. И хотя здесь многое можно было бы сказать об университетах вообще и об иноземных академиях в особенности, я удовольствуюсь тем, что коснусь лишь предмета, оставшегося у нас без внимания. Гордость французов — знаменитейшая Академия в Европе, блеском своим во многом обязана покровительству, которое оказывали ей французские короли. Произнося речь при избрании в сию Академию, один из членов ее сказал, что «одно из славнейших деяний, совершенных непобедимым монархом Франции, — учреждение сего высокого собрания — средоточия всей сущей в мире учености».

Первейшей целью Парижской Академии является совершенствование и исправление родного языка, в чем добилась она такого успеха, что ныне по-французски говорят при дворе любого христианского монарха, ибо язык сей признан универсальным.

Некогда выпала мне честь быть членом небольшого кружка, поставившего себе, по-видимому, ту же благородную цель относительно английского языка. Однако величие задачи и скромность тех джентльменов, кои взялись за ее исполнение, послужили к тому, что от начинания сего пришлось им отказаться как от непосильного для частных лиц. Поистине, для подобного предприятия надобен нам свой Ришелье<sup>3</sup>, ибо нет сомнений, будь в нашем королевстве такой гений, который возглавил бы эти усилия, то последователи у него непременно нашлись бы, сумев стяжать себе славу, достойную предшественников. Язык наш наравне с французским заслуживает, чтобы на благо его трудилось подобное общество, и способен достичь много большего совершенства. Просвещенные французы не могут не признать, что по части глубины, ясности и выразительности английский язык не только не уступает своим соседям, но даже их превосходит. Сие признавали и Рапэн, и Сент-Эвремон, и другие известнейшие французские писатели. А лорд Роскоммон<sup>4</sup>, почитавшийся знатоком англий-

ского языка, писавший на нем с наибольшей точностью, выразил ту же мысль в следующих строках:

Как легкость авторов французских далека  
От силы нашего родного языка!  
Ведь в слитке строчки нашей серебрится  
Французской проволоки целая страница.

И если соседи наши вслед за своим величайшим критиком признают наше превосходство в возвышенности и благородстве слога, мы охотно уступим им первенство по части их легковесной живости.

Приходится только сожалеть, что дело столь благородное не нашло у нас столь же благородных приверженцев. Разве не укажет нам путь пример Парижской академии, которая — воздадим должное французам! — стоит первой среди величайших начинаний просвещенного человечества?

Ныне здравствующий король Англии, коему со всех сторон света доносятся хвалы и панегирики и чьи достоинства враги, если только их интересы не зажимают им рта, готовы превозносить даже больше, чем сторонники, — король наш, показавший столь удивительные примеры величия духа на войне, не найдет лучшего случая, осмелюсь заметить, в мирное время увековечить свою память, нежели учредив такую Академию. Сим деянием он имел бы случай затмить славу французского короля на мирном поприще, как затмил он ее своими подвигами на поле брани.

Одна лишь гордыня находит упоение в лести, и не что иное, как порок, закрывает нам глаза на наши несовершенства. Государям, по моему разумению, в этой части выпал жребий особенно несчастливый, ибо добрые их поступки всегда преувеличиваются, меж тем как дурные замалчиваются. Со всем тем, королю Вильгельму, уже снискавшему себе хвалу на стезе воинской доблести, видимо, уготовано деяние, похвальное в самой сути своей и стоящее выше лести.

А посему — коль скоро речь идет о деле, каковое, надо полагать, по плечу лишь государю, — я, против обыкновения, не дерзаю в этой части моих опытов, как делал в других, указать на пример разрешения сего вопроса, а просто приведу свои соображения.

Мне представляется ученое Общество, учрежденное самим государем, будь на то его высочайшая воля, состоящее из просвещеннейших людей наших дней; притом надобно, чтобы дворяне сии, бу-

дучи страстными приверженцами учености, соединяли в себе благородство рождения с выдающимися природными способностями.

Целью сего Общества должно стать распространение изящной словесности, очищение и совершенствование английского языка, развитие столь пренебрегаемых нами навыков правильного его употребления, забота о чистоте и строгости слога, избавление языка от всяческих искажений, порождаемых невежеством или жеманством, а также от тех, с позволения сказать, нововведений, кои иные чересчур самонадеянные сочинители осмеливаются навязывать нашему языку, словно их авторитет настолько непререкаем, что дает им право на любые причуды.

Такое Общество, смею утверждать, принесло бы подлинную славу английскому языку, и тогда среди просвещенных народов он по праву получил бы признание как наиболее благороднейший и наиболее точный из всех новых языков.

Членами сего Общества стали бы только лица, известные своей просвещенностью, но отнюдь не те — или очень немногие из тех, — кто посвятил себя ученым занятиям, ибо, позволю себе заметить, встречается немало больших ученых или просто образованных людей и выпускников университетов, чей язык вовсе не безупречен, поскольку страдает неуклюжестью, искусственностью и тяжеловесностью, изобилует чрезмерно длинными и плохо сочетающимися словами и предложениями, каковые звучат грубо и непривычно, а для читателей трудно произносимы и непонятны.

Словом, среди членов сего Общества я не хотел бы видеть ни священников, ни лекарей, ни стряпчих. Не то что бы я не уважал учености тех, кто упражняется в сих почтенных занятиях, или с пренебрежением относился к ним самим. Но, думаю, я не нанесу этим людям бесчестья, если замечу, что их род занятий неизбежно исподволь накладывает свой отпечаток на речь, чего не терпят интересы дела, о коем я радею. Вполне допускаю, что и в этой среде может встретиться человек, в совершенстве владеющий языком и стилем, истинный знаток английского языка, чью речь мало кто осмелится исправлять. И если найдутся таковые люди, их выдающиеся достоинства должны открыть им двери в помянутое ученое Общество, однако подобные случаи, конечно же, будут редки и должны составлять исключение.

Будущее Общество представляется мне состоящим из истинных джентльменов. В него вошли бы двенадцать пэров, двенадцать

джентльменов, не занимающих государственных должностей, и еще следовало бы учредить, хотя бы ради поощрения, двенадцать мест для людей разных званий, кои своим трудом и заслугами приобрели бы право удостоиться подобной чести. Общество было бы достаточным авторитетом для определения правильности употребления слов, изобличало бы нововведения, возникающие по чьей-то прихоти, и тем самым наша словесность обрела бы блюстителя законности, обладающего полномочиями поправлять сочинителей и в особенности переводчиков, запрещая им излишние вольности. Благодаря своему высокому авторитету Общество стало бы признанным законодателем в языке и стиле, и тогда никто из пишущих не дерзал бы изобретать слова без его одобрения. Обычай языка, которые суть для нас закон в употреблении слов, должны строго оберегаться и неукоснительно соблюдаться. Учреждение Общества положило бы конец изобретению слов и выражений, каковое следует считать таким же преступлением, как печатание фальшивых денег.

Круг занятий Общества охватывал бы чтение трактатов об английском языке, издание трудов о происхождении, природе, употреблении, значениях и различиях слов, о правильности, чистоте и благозвучии слога, а также воспитание у пишущих хорошего вкуса, порицание и исправление распространенных ошибок в языке, словом, все необходимое для того, чтобы привести английский язык к должному совершенству, а наших джентльменов научить писать как подобает их званию, изгнав чванство и педантизм, преградив путь неуместной дерзости и наглости молодых авторов, кои в погоне за известностью готовы жертвовать здравым смыслом.

Позвольте теперь высказать некоторые соображения касательно того потока бранных слов и выражений, который ныне захлестнул нашу речь. Я не могу не остановиться здесь на сем предмете, ибо бессмысленный порок сей настолько среди нас укоренился, что мужчины в беседе между собой почти не обходятся без крепкого словца, а иные даже сетуют — жаль, дескать, что брань почитается неприличной, ибо украшает речь и придает ей выразительность.

Говоря о сквернословии, я имею в виду все те проклятия, божбу, бранные слова, ругательства и как там оные еще именуются, кои в пылу беседы беспрестанно слетают с уст едва ли не всякого мужчины, какого бы звания он ни был.

Привычка сия бессмысленна, безрассудна и нелепа; это глупость ради глупости, чего даже сам дьявол себе не позволяет: дьявол, как известно, творит зло, но всегда с некой целью — либо из стремления ввергнуть нас в соблазн, либо, как говорят богословы, из враждебности к Создателю нашему. Человек крадет из корысти, убивает, дабы удовлетворить свою алчность или мстительность; распутство и поругание женщины, прелюбодеяние и содомский грех служат к утолению порочных вожделений, всегда имеющих свою корыстную цель, как вообще любой порок имеет какую-то причину и какую-то видимую цель, и лишь дурной обычай, о котором я пишу, представляется совершенно бессмысленным и нелепым: он не дает ни удовольствия, ни выгоды, не преследует никакой цели, не удовлетворяет никакую страсть, это просто бешенство языка, рвота мозга, являющая собой насилие над естеством.

Далее. Для других пороков всегда находятся оправдания или извинения: вор ссылается на нужду, убийца — на ослепление неистовством, немало неуклюжих доводов приводится в извинение распутства; отвратительную же привычку к сквернословию все, включая тех, кому она свойственна, не могут не признать преступлением, и единственное, что можно услышать в оправдание бранного слова, это то, что оно само срывается с языка.

Сверх того, оглушать своих собеседников потоками брани есть непростительная дерзость и нарушение правил приличия, а коль скоро кому-то из присутствующих сие не по душе, то, следственно, попираются и законы вежливости. Все равно что испустить утробный звук на судебном заседании или произносить непристойные речи в присутствии королевы.

В борьбе с таким злом любые законы, постановления парламента и предписания суть не что иное, как игра в бирюльки. Меры сии курам на смех, и, сколько могу судить, они всегда оставались без последствий, тем паче что наши судьи ни разу не пытались требовать их исполнения.

Не наказание, а хороший пример искоренит порок, и, если большинство наших джентльменов откажется от этой дурной привычки, нелепой и бессмысленной, она, став предосудительной, выйдет из моды.

Вот начинание, достойное Академии. Полагаю, ничто не может возыметь большего действия, нежели открытое порицание со стороны

столь авторитетного Общества, призванного охранять чистоту языка и нравов. Академии принадлежало бы право решать, сообразуется ли с духом разумности изображение обычаев, нравов и обхождения на театре. Прежде чем ту или иную пьесу увидят зрители, а критики начнут судить о ней и всю ругать, она должна быть оценена членами Академии. Тогда на сцене будет процветать подлинное искусство, и два наших театра<sup>5</sup> перестанут ссориться за обладание первенством, признав разум, вкус и истинные достоинства непогрешимыми судьями в сем споре.

## Примечания

<sup>1</sup> «Опыт о проектах» (небольшой частью которого является публикуемый фрагмент) — одно из первых заметных выступлений Дефо-публициста, просветителя. Первое издание увидело свет в мае 1698 г., второе — четыре года спустя. Решительная перестройка культурного сознания, усложнение форм человеческого общения сделали насущным вопрос о судьбе национального языка, ради решения которого Дефо, подобно Свифту и многим другим, считает целесообразным учреждение в Англии общества наподобие французской Академии. Хотя Дефо и предполагает введение норм, упорядочивающих языковое употребление и ограничивающих вольности, он далек от того, чтобы поклоняться правилам ради правил, и даже предлагает закрыть доступ в Академию ученым-педантам. Само изложение проблемы у него иное, чем у Свифта; менее историческое и теоретическое, а более — практическое. Цель его — просветительская: приспособить язык к нуждам сегодняшнего общения, научить людей чистому и точному языку, что сам он не раз пытается осуществить, включая овладение речью в программу воспитания и джентльмена, и торговца.

<sup>2</sup> Оных у нас в Англии меньше, нежели в других странах... — В данном случае под академиями Дефо имеет в виду не Французскую Академию, а учебные заведения, которые — особенно учреждаемые диссентерами — так и назывались в Англии.

<sup>3</sup> Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кардинал, фактический правитель Франции при Людовике XIII; в 1635 г. основал французскую Академию из сорока членов с целью создания словаря.

<sup>4</sup> Роскоммон, Уэнтворт Диллон, граф (1633—1685) — автор «Опыта о переводном стихе» и переводчик «Поэтического искусства» Горация, которое, наряду с другими трактатами преимущественно французских авторов (в том числе и названных у Дефо выше Рапена и Сент-Эвремона), служило основой поэтики и хорошего вкуса в Англии.

<sup>5</sup> В конце XVII в. в Лондоне соперничали два театра: «Друри Лейн» и «Линкольнз Инн Филдз».

## Чистокровный англичанин (фрагмент)<sup>1</sup>

К нам Юлий Цезарь Рим<sup>2</sup> привел сначала,  
А вместе с ним Ломбардца, Грека, Галла,  
Короче — всех, о ком мы говорим  
Со ссылками на тот же Древний Рим.  
Потом сюда пришли, никем не званы,  
С Энгистом — Саксы, а со Свенем<sup>3</sup> — Даны,  
А из земли Ирландской — Пикт и Скотт,  
С Вильгельмом<sup>4</sup> же — Норманны в свой черед.  
Потомство, брошенное этим сбродом,  
Перемешалось с коренным народом,  
С исконными Британцами, придав  
Сынам Уэллса их черты и нрав.  
Как результат смешенья всякой Рвани  
И мы возникли, то бишь — Англичане,  
У пришлецов заимствовав сполна  
Обычай, Язык и Имена,  
И Речь свою украсили при этом  
Таким невытравимым Шиболетом,  
Что по нему ты опознаешь вмиг  
Саксонско-Римско-Датский наш язык.  
Нашествие Норманнов показало,  
Что их Главарь — мерзавец, коих мало:  
Своим Стрелкам раздал он города,  
Не обладая ими никогда;  
Заполучив Английскую Корону,  
Голландцев<sup>5</sup> этих он приблизил к трону.  
Хоть Давенант<sup>6</sup> весьма ученый муж,  
Все, что он пишет о Возврате, — чушь:  
Своим солдатам сей Иноплеменник  
Платил Землей за неименьем Денег.  
Так свой захватнический Легион  
Хозяином народа сделал он,  
И никакой Парламент был не в силах  
Страну избавить от Господ служилых.  
И Лордом стал его Легионер,  
Не отличаясь тонкостью манер;

И Перепись<sup>7</sup> тех лет — тому пример.  
Нет ничего престижнее для Знати,  
Чем от Французов из Нормандской рати  
С их Незаконнорожденным<sup>8</sup> Главой  
Производить весь Род старинный свой:  
Вам с гордостью покажут панцирь, или  
Двуручный меч, покрытый слоем пыли,  
Которые те якобы носили;  
А также приведут как аргумент  
Какой-нибудь старинный Документ,  
Но ни один не скажет, кто из оных  
Чем отличился в этих легионах:  
Здесь Документы немые, вроде рыб, —  
Настолько затуманен Прототип.  
А потому чрезвычайно странен  
Мне этот Чистокровный Англичанин;  
Скакун Арабский мог бы дать скорей  
Отчет о чистоте своих кровей.  
Мы знаем из Истории, что Званьё  
Дворянству принесло Завоеваньё,  
Но, черт возьми, как, за какой пробел  
Француз стать Англичанином успел?  
И как мы можем презирать Голландцев  
И всех новоприбывших иностранцев,  
Когда и сами мы произошли  
От самых подлых сыновей земли, —  
От Скоттов вероломнейших и Бриттов,  
От шайки воров, трутней и бандитов,  
Которые насильничали тут,  
Чиня Разбой, Смертоубийства, Блуд,  
От рыжекудрых Викингов и Данов,  
Чье семя узнаёшь, едва лишь глянув, —  
От Смеси коих и родился клан  
Всех наших Чистокровных Англичан.

## Примечания

<sup>1</sup> Памфлет написан в 1701 году. Непосредственным поводом к его созданию послужил памфлет убежденного вигга Джона Татчина «Иноземцы». О важности, которую Дефо придавал своему выступлению, свидетельствует тот факт, что впоследствии он не раз подписывается прозрачным псевдонимом — Автор «Чистокровного англичанина»; под этим именем в 1703—1705 годах выходит в свет двухтомное собрание его произведений. В течение года памфлет был переиздан девять раз, не считая «пиратских» изданий. Для Дефо данный случай явился возможностью еще раз поднять голос в защиту веротерпимости и против националистического «энтузиазма», как тогда называли любой фанатизм. Национальным предрассудкам Дефо противопоставил гордость человека третьего сословия: «Не слава рода, которая обманчива, но только личная добродетель делает нас великими» — этими строками (не вошедшими в этот фрагмент) завершается «Чистокровный англичанин».

<sup>2</sup> К нам Юлий Цезарь Рим привел сначала... — Римские легионы под предводительством Юлия Цезаря начали завоевание заселенной кельтскими племенами (бритты, пикты, скотты) Британии в 55—54 гг. до н. э. Остров оставался римской провинцией до конца IV в., когда римляне ушли для защиты империи от варваров.

<sup>3</sup> Энгист — один из вождей германских племен (ютов), начавших завоевание Британии в V в.; Свен — предводитель викингов (варягов) в X в.

<sup>4</sup> Вильгельм — нормандский герцог, вошедший в историю под именем Вильгельма Завоевателя; в 1066 г. в битве при Гастингсе он разбил войска англосаксов, предводительствуемые королем Гарольдом. Хотя Вильгельм также происходил из германских викингов и был связан родством с англосаксонской династией, он был воспитан во Франции и принес с собой франкоязычную культуру.

<sup>5</sup> Голландцев этих он приблизил к трону... — В данном случае под голландцами понимаются чужеземцы вообще; однако выбор этого слова не случаен: традиционным было сравнивать воцарение Вильгельма III, оставшегося в то же время и правителем Нидерландов, с нашествием норманнов под предводительством Вильгельма I. Дефо повторяет сравнение как бы с голоса тех, кто желал представить короля еще одним завоевателем и попрекал его чужеродностью.

<sup>6</sup> Хоть Давенант весьма ученый муж... — Чарлз Давенант (сын известного драматурга) поддержал памфлетом решение палаты общин (15 декабря 1699 г.) о возвращении в казну всех земель и доходов, дарованных Вильгельмом III своим сторонникам, по преимуществу голландцам, в Ирландии. Дефо в оправдание монарха указывает на то, что Вильгельм I, ко времени правления

которого с гордостью возводят свою родословную и свои привилегии английские аристократы, поступал точно так же.

<sup>7</sup> И Перепись тех лет... — Речь идет о так называемой Книге Страшного суда (XI в), в которую были включены сведения обо всем: населении, землях, имуществе, — подлежащем налоговому обложению.

<sup>8</sup> С их незаконнорожденным главой... — Вильгельм Завоеватель был бастардом, незаконным сыном нормандского герцога Роберта I.

## Простейший способ разделаться с диссидентами<sup>1</sup>

В собрании басен сэра Роберта Л'Эстренджа есть притча о Петухе и Лошадях. Случилось как-то Петуху попасть в конюшню к Лошадям, и, не увидев ни насеста, ни иного удобного пристанища, он принужден был разместиться на полу. Страшась за свою жизнь, ибо над ним брыкались и переступали Лошади, он принялся их урезонивать с большой серьезностью: «Прошу вас, джентльмены, давайте стоять смирно, в противном случае мы можем растоптать друг друга!»

Сегодня очень многие, лишившись своего высокого насеста и уравнившись с прочими людьми в правах, весьма обеспокоились — и не напрасно! — что с ними обойдутся, как они того заслуживают, и стали восхвалять, подобно эзоповскому Петуху, Мир, Единение и достодолжную христианскую Терпимость, запамятавав, что отнюдь не жаловали эти добродетели, когда стояли у кормила власти сами.

Последние четырнадцать лет не знает славы<sup>2</sup> и покоя чистейшая и самая процветающая церковь в мире, утратившая их из-за ударов и нападков тех, кому Господь, пути которого неисповедимы, дозволил поносить и попирать ее. То было время поругания и бедствий. С незыблемым спокойствием терпела она укору нечестивцев, но Бог, услышав наконец творимые молитвы, избавил ее от гнета чужеземца.

Отныне эти люди знают, что их пора прошла и власть их миновала; на нашем троне восседает королева-соотечественница, всегда и неизменно принадлежавшая Церкви Англии и искони ее поддерживавшая. И посему, страшась заслуженного гнева церкви, диссиденты кричат: «Мир!», «Единение!», «Кротость», «Милосердие!». Как будто церковь не укрывала слишком долго это вражеское племя сенью своих крыл и не пригрела на своей груди змеиное отродье, ужалившее ту, что его выкормила.

Нет, джентльмены, дни милосердия и снисхождения кончились! Чтoб уповать теперь на миролюбие, умеренность и благодать, вам следовало и самим их прежде соблюдать! Но за последние четырнадцать лет мы ни о чем таком от вас слыхом не слыхали! Вы нас стращали и запугивали своим Актом о веротерпимости, внушали, что ваша церковь — дочь закона, как и прочие, свои моленные дома с их ханжескими песнопениями вы размещали у порога наших храмов! Вы осыпали наших прихожан упреками, одолевали их присягами, союзами и

отречениями — и множеством иных досужих измышлений! В чем проявлялось ваше милосердие, любовь и снисходительность к тем самым совестливым членам Церкви Англии, которым было трудно преступить присягу, данную законному и правомочному монарху<sup>3</sup> (к тому же не ушедшему из жизни), дабы с поспешностью — к чему вы поуждали их — поклясться в верности новоиспеченному голландскому правительству, составленному вами из кого придется. Неприсягнувших вы лишили средств к существованию, оставив их с домашними во власти голода и обложив их земли и владения двойною податью, чтобы вести войну, в которой они не участвовали, а вы не дождались прирбытка!

Чем сможете вы объяснить противоречащую совести покорность, к которой вы, пуская в ход свою новейшую обманную политику, склонили многих верных, что согрешили, как и многие новообращенные во Францию<sup>4</sup>, лишь убоявшись голода? Зато теперь, когда вы оказались в нашей шкуре, вы говорите, что зазорно вас преследовать, ибо сие не по-христиански!

Вы обагрили руки кровью одного монарха! Другого низложили! Из третьего вы сделали марионетку! И вам еще хватает дерзости надеяться, что следующая венценосная особа подарит вас и службой, и доверием! Те, что не знают нравов вашей партии, должно быть, приписали бы безумию и наглости сии неслыханные упования!

Любому из грядущих повелителей довольно было бы взглянуть, как вы вертели своим Королем-Голландцем (которому досталось править только в клубах), чтоб осознать доподлинную цену ваших убеждений и убояться ваших цепких рук. Благодаренье Богу, наша королева вне опасности, ибо ей ведомо, что вы собою представляете, она вас не оставит без надзора!

Верховному правителю страны даны, вне всякого сомнения, и власть, и полномочия употреблять законы государства по отношению к любым из подданных. Но партия фанатиков-диссидентов ославила религиозными гонениями известные законы нашего отечества, которые к ним применялись очень мягко, крича, что беды гугенотов Франции ничто в сравнении с их бедами. Однако обращать законы государства против тех, кто преступает их, хоть прежде согласился с их введением, есть отправление правосудия, а не религиозные гонения. К тому же правосудие — всегда насилие для нарушителей, ибо любой невинен в собственных глазах.

Впервые закон против диссидентов был применен на деле в годы правления короля Якова I<sup>5</sup>, и что из этого последовало? Лишь то, что им дозволили в ответ на их прошение переселиться в Новую Англию<sup>6</sup>, где, получив значительные привилегии, субсидии и соответствующие полномочия, они сумели основать колонию и где, не собирая с них ни податей, ни пошлин, мы охраняли и оберегали их от всех и всяческих завоевателей, — то была худшая из бед, какие им случилось испытать!

И такова жестокость Церкви Англии. Какая пагубная снисходительность! Она и довела до гибели блистательного государя — короля Карла I. Если бы король Яков услали всех пуритан из Англии в Вест-Индию, мы бы остались единой церковью! Единой, неделимой и не тронутой расколом Церковью Англии!

Дабы воздать отцу за снисходительность, диссиденты пошли войной на сына, повергли его ниц, преследовали по пятам, схватили и отправили в узилище; затем, послав на казнь помазанника Божия, разделались с правительством, разрушив самые его основы, и возвели на трон ничтожнейшего самозванца, не наделенного ни высотой происхождения, ни пониманием того, как должно править, но возмещавшего отсутствие указанных достоинств силою, кровавыми и безрассудными решениями и хитростью, не умеряемой ни каплей совести.

Если бы король Яков I не сдерживал карающую руку правосудия и дал ему свершиться до конца, если б он воздал им должное, страна от них освободилась бы! Тогда они бы не могли убить наследника и не сумели бы погрязнуть монархию. Избыток его милосердия к ним повлек и гибель его сына, и окончание мирной жизни Англии. Казалось бы, диссидентам, уже вознаградившим нас за дружелюбие братоубийственной войной и тяжкими, неправыми гонениями, не стоит уповать, будто своими льстивыми и жалкими речами они склонят нас к Миру и Терпимости.

Они теперь нас убеждают мягче с ними обходиться, тогда как сами — хотя им, разумеется, не довелось вершить делами церкви — выказывали ей и крайнюю суровость, и презрение и подвергали всяческому порицанию! Во времена расцвета их Республики много ли милосердия и миролюбия вкусили те из джентри, что сохранили верность королю? Взямая выкуп со всего дворянства без разбору, с тех, что сражались, и с тех, что не сражались в войске короля, фанатики пускали по миру чужие семьи. Чего только не вытерпела Церковь Ан-

глии, когда они расхитили ее имущество, присвоили ее владения, отдав их солдатне, а пострадавших обрекли на голодное существование! Теперь мы применим к ним их же средства!

Известно, что вероучение Церкви Англии исходит из любви и милосердия, которые она распространяла на диссидентов гораздо больше, чем они того заслуживали, пока в конце концов не стала нарушать свой долг и обделять своих сынов, виной чему, как говорилось выше, была излишняя терпимость короля Якова I. Сотри он пуритан с лица земли еще вначале, когда к тому представлялся случай, они бы не могли, набравшись сил, тиранить церковь, как делают с тех самых пор.

Чем воздала им церковь за кровавые злодеяния? В те годы, когда на троне восседал Карл II, она ответила диссидентам и милосердием, и снисхождением! Кроме безжалостных царевичей<sup>7</sup>, входивших в самочинный суд, никто из них не заплатился жизнью за потоки крови, пролитые в противоестественной войне! Карл с самых первых дней оказывал им покровительство, дарил любовью, опекал их, раздавал им должности, оберегал от строгости закона и, не считаясь с мнением парламента, не раз предоставлял свободу веры, за что они воздали ему заговором, замыслив с помощью злодейской хитрости<sup>8</sup> низвергнуть его с трона и уничтожить заодно с преемником!

Правление Якова II, казалось, унаследовавшего милосердие от предков, ознаменовалось редкими благодеяниями для диссидентов, и даже их поддержка герцогу Монмуту не побудила его поквитаться с ними. Желая их привлечь к себе любовью и мягкосердечием, король, в своем безмерном ослеплении, провозгласил для них свободу и предпochел поставить под удар не их, а Церковь Англии! Теперь известно во всем мире, как они на то ответили!

Годы правления последнего монарха еще настолько свежи в памяти, что можно не вдаваться в разъяснения. Довольно лишь сказать, что, сделав вид, будто они хотят соединиться с церковью, чтоб искупить свою вину, диссиденты и прочие примкнувшие к ним лица из сбитых ими с толку опасно накалили обстановку и свергли короля с престола, как будто врачевать обиды, нанесенные стране, нельзя иным путем, чем сокрушив монарха! Вот вам пример их Сдержанности, Мирюлюбия и Милости!

Чего только они не вытворяли, когда на троне восседал их единоведец! Они проникли на все важные и выгодные должности и,

втершись в доверие к королю, в обход всех прочих, получали самые высокие посты! Все, даже министерство, оказалось в их руках, но как они при этом плохо правили! Все это очевидно и не нуждается в напоминании.

Однако свойственный им дух любви, и единения, и милости, столь громко ими ныне восхваляемый, особенно бросается в глаза в Шотландии. Взгляните на Шотландию, и вы увидите, какого они духа. Они забрали силу в местной церкви, согнули в рог священников и одержали, как им кажется, бесповоротную победу над епископальным правительством! Но это мы еще посмотрим!

Хотелось бы узнать у «Наблюдателя»<sup>9</sup>, их наглого заступника, много ли кротости и милосердия узнала паства епископальной церкви со стороны шотландского пресвитерианского правительства! В ответ я мог бы поручиться, что и диссидентам окажут в Церкви Англии подобный снисходительный прием, хотя они его и не заслуживают!

Из краткого трактата «Гонения, перенесенные в Шотландии служителями епископальной церкви» становится понятно, что страдало наше духовенство! Его не только оставляли без приходов, но зачастую грабили и подвергали оскорблениям. Священников, не отступившихся от своей веры, изгнали вместе с чадами и домочадцами, не уделив и корки хлеба на дорогу, должно быть от избытка милосердия. В таком коротком сочинении не счесть бесчинства этой секты.

А ныне, чтобы отогнать нависшую на горизонте тучу, которая, как они чувствуют, движется на них из Англии, обученные всем уловкам пресвитерианства, они стремятся к Унии народов, желая, чтобы Англия объединила свою церковь с шотландской и чтобы все гнусавое собрание шотландских длиннополых<sup>10</sup> влилось в нашу конвокацию. Бог ведает, что бы могло случиться, останься наши фанатики-виги у кормила власти. Будем надеяться, что ныне можно сего не опасаться.

Пытаясь запугать нас, иные из этой секты заявляют, что, если мы не вступим с ними в Унию, они отложатся от Англии и сами выберут себе монарха после смерти королевы. Если они не примут нашего престолонаследия, мы их к тому принудим, они не раз имели случай убедиться в нашей силе! Короны двух этих государств<sup>11</sup> с недавних пор передаются не по наследственному праву, но, может быть, оно опять к ним возвратится, и если Шотландия намерена его отвергнуть ради того, чтоб избирать себе государя, пусть не забудет, что Англия не обещала предавать законного наследника: она поможет ему возвра-

тяться, что бы ни говорилось в смехотворном «Законе о престолонаследии».

Так выглядят на деле эти джентльмены, и так они чтят церковь на родине и за ее пределами!

Теперь давайте перейдем к тем вымышленным доводам, которые диссиденты приводят в свою пользу; давайте уясним, из-за чего нам следует оказывать им снисхождение и почему нам следует терпеть их.

«Во-первых, — говорят они, — нас очень много»<sup>12</sup>. Они-де составляют слишком значительную часть нации, чтобы их можно было воспретить. На это существуют следующие возражения.

Прежде всего, их несравненно меньше, чем французских протестантов, однако тамошний король весьма успешно в одночасье избавил от них нацию, и непохоже, что ему их не хватает!

К тому же я не верю, что их так много, как они о том толкуют. Их ощутимо меньше, нежели числится в их секте, весьма возросшей за счет тех наших верующих, что дали себя одурачить вкрадчивым словом и хитрыми выдумками; но стоит нашему правительству всерьез приняться за работу, как все они оставят чуждое исповедание, подобно грызунам, что покидают тонущий корабль.

Второе. Чем больше среди нас диссидентов, тем больше и опасность, ими представляемая, и тем важнее предотвратить ее! Как жало в плоть, они ниспосланы нам Богом в наказание за то, что мы не истребили их в зародыше.

И третье соображение. Коль скоро мы должны признать диссидентов лишь потому, что не способны с ними справиться, нам следует себя проверить и узнать, осилим мы их или нет. Я убежден, что это дело легкое, и мог бы указать, как лучше за него приняться, но это было бы нескромностью по отношению к правительству, которое изыщет действенные способы, дабы избавить край от этого проклятия.

Второй их довод сводится к тому, что «Англия сейчас воюет и всем нам следует сплотиться против общего врага».

На это мы отвечаем, что «общий враг» не враждовал бы с нами, если бы они о том не постарались! Наш «враг» жил мирно и спокойно, не беспокоя нас и не вторгаясь в наши земли, и, если бы не диссиденты, у нас бы не возникло повода для ссоры.

К тому же мы и без них способны одолеть его. Однако зададимся следующим вопросом: зачем перед лицом врага вступать в союз с

диссидентами? Неужто они перебросятся к противнику, ежели мы не упредим того и не сумеем с ними сговориться? Вот и отлично, тогда мы рассчитаемся со всеми недругами сразу, и в том числе с тем самым «общим», с которым нам без них будет намного легче справиться! К тому же, если нам угрожает враг извне, нам следует освободиться и от внутреннего. Коль скоро у страны имеется противник, тот самый «общий враг», ей ни к чему иметь в тылу другого!

Когда из обращения изымали старую монету<sup>13</sup>, мы часто слышали, как раздавались голоса: «Не стоит проводить такую меру! Необходимо отложить ее до окончания войны, иначе мы рискуем погубить отечество!» Однако польза этой меры не замедлила сказаться и оправдала риск, как оказалось, не такой уж и большой. И удалить диссидентов несколько не труднее и так же важно для страны, как и наладить выпуск новых денег. Мы не узнаем радость прочного, неколебимого единства и крепкого, незыблемого мира, пока не изгоним из страны Дух Вигов, Дух Раздоров и Раскола, как некогда отдали в переплавку старую монету!

Внушать себе, что это очень трудно, — значит запугивать себя химерами и опасаться силы тех, что силы не имеют. Издалека нам многое рисуется гораздо более трудным, чем оно есть на самом деле, но стоит обратиться к доводам рассудка, как мгла рассеивается и призраки уходят.

Мы не должны давать себя страшать! Наш век мудрее прежнего, о чем свидетельствует и наш опыт, и опыт предшествующего поколения. Яви король Карл I больше осмотрительности, он в колыбели уничтожил бы их секту! Как бы то ни было, об их военной силе можно не упоминать — всех их Монмутов, Шефтсбери<sup>14</sup>, Аргайлов<sup>15</sup> больше нет, как больше нет голландского убежища! Бог им уготовал гибель, и, если мы не подчинимся Вышней воле, пеняť придется только на себя, равно как помнить с этих самых пор, что нам предоставлялся случай послужить ко благу церкви, стерев с лица земли ее непримиримого противника; но если мы упустим миг, дарованный нам Небом, то, как показывает жизнь, останется лишь сокрушаться: «Post est occasio calva!».

Мы часто слышим возражения против этой меры и посему рассмотрим самые распространенные из них.

Нередко говорят, что королева обещала сохранить диссидентам дарованную им свободу вероисповедания и упредила нас, что не нарушит данное им слово.

Не в нашей власти направлять поступки королевы, иной вопрос — чего мы ожидаем от нее как от главы церкви. Ее величество обязывалась защищать и ограждать от всяких посягательств Церковь Англии, но если для того, чтоб это выполнить, необходимо истребить диссидентов, значит, ей нужно отступить от одного обещания, чтобы сдержать другое.

Однако вникнем в это возражение подробнее. Ее величество хотя и обещала соблюдать терпимость в отношении диссидентов, но все же не ценою разрушения церкви, а только при условии благополучия и безопасности последней, которые она взялась блюсти. Коль скоро выгоды двух сих сторон пришли в противоречие, понятно, что королева предпочтет отстаивать, хранить, оберегать и утверждать родную церковь, чего, по нашему суждению, она не в силах будет сделать, не отказавшись от терпимости.

На это нам, возможно, возразят, что церкви ныне ничего не угрожает со стороны диссидентов и нас ничто не вынуждает к срочным мерам.

Но это слабый аргумент. Во-первых, если угроза вправду существует, то отдаленность ее не должна нас успокаивать, и это лишний повод торопиться и отвести ее заранее, вместо того чтобы тянуть, пока не станет слишком поздно.

К тому же может случиться, что это первый и последний случай, когда у церкви есть возможность добиться безопасности и уничтожить недруга.

Эта возможность дается представителям народа! Настало время, которого так долго ждали лучшие сыны страны! Сегодня они могут оказать услугу своей церкви, ибо их поощряет и поддерживает королева, по праву возглавляющая эту церковь!

Что вам соделать с сестрою вашею<sup>16</sup>, когда будут свататься за нее?

Что вам соделать, если вы желаете утвердить лучшую христианскую церковь в мире?

Если вы желаете изгнать оттуда рвение?

Если вы желаете уничтожить в Англии змеиное отродье, так долго упивавшееся кровью Матери?

Что вы предпримете, желая освободить потомство от раздоров и волнений?

Тогда спешите это сделать! Настало время вырвать с корнем сорняки мятежной ереси, которые так много лет мешали миру в вашей церкви и заглушали доброе зерно!

«Но так мы возродим костры, — мне скажут многие в сердцах или невозмутимо, — и акт *De haeretico comburendo*<sup>17</sup>, а это и жестоко и означает возвращенье к варварству».

На это я отвечу так: хоть и жестоко предумышленно давить ногой гадюку или жабу, но мерзость их природы такова, что превращает мой поступок в благо для ближних наших. Их убивают не за вред, который они сотворили, а для того, чтобы его предотвратить! Их убивают не за зло, которое они нам уже причинили, а за то, которое они в себе таят! Вся эта нечисть: жабы, змеи и гадюки — опасна для здоровья и вредна для жизни тела, тогда как те нам отравляют душу, расклеивают наше потомство! Заманивают в сети наших чад, подтачивают корни нашего земного счастья и небесного блаженства. И заражают весь народ!

Какой закон способен охранять сих диких тварей? Есть звери, созданные для охоты, за каковыми признается право убегать и укрываться от погони, но есть и те, которым разбивают голову, используя все преимущества внезапности и силы!

Я не прописываю в качестве противоядия сожженье на костре. Я только повторяю вслед за Сципионом<sup>18</sup>: «*Delenda est Carthago!*». И если мы надеемся жить в мире, служить Богу и сохранять свободу и достоинство, диссидентов необходимо уничтожить! Что до того, как лучше это сделать, — решение за теми, кто полномочен отправлять божественное правосудие против врагов страны и церкви!

Но если мы позволим запугать себя упреками в жестокосердии, если мы уклонимся от свершения правосудия, нам не дано будет узнать ни мира, ни свободы! То будет варварство, и несравненно большее, по отношению к нашим чадам и потомкам, которые им попрекнут своих отцов, как мы им попрекаем наших. «У вас был случай под покровительством и при поддержке королевы, стоящей во главе Законной Церкви, искоренить все подлое отродье, а вы, поддавшись неуместной жалости из страха проявить жестокость, помиловали этих мерзких нечестивцев. И нынче они гонят нашу церковь и попирают нашу веру, опустошают наши земли, а нас влекут на плахи и в темни-

цы! Вы пощадили амаликитян и погубили нас! И ваша милость — лишь жестокость к вашим бедным детям!»

Как справедливы будут эти нарекания, когда наши потомки упадутся в лапы к сему не знающему снисхожденья роду, и Церковь Англии охватят смуты и раздоры, дух рвения и хаос, когда правление в стране передоверят иноземцам, которые искоренят монархию и учредят республику!

Коль скоро мы должны шадить их племя, давайте действовать разумно: давайте умертвим своих потомков сами, вместо того чтоб обрекать их гибели от вражеской руки и прикрывать высокими словами свое бездействие и равнодушие, крича, что это милосердие, — ибо рожденные свободными, они тогда свободными покинут этот мир.

Кротчайший и милосердный Моисей<sup>19</sup> промчался в гнев по становищу, сразив мечом три и еще тридцать тысяч любезных его сердцу братьев из народа своего за сотворение себе кумира. Зачем он покарал их? Из милосердия — дабы не допустить до разложения все воинство. Сколь многих из грядущей паствы мы бы спасли от заблуждений и от скверны, срази мы нынче племя нечестивцев!

Недопустимо мешкать с этой мерой! Все эти штрафы, пени и поборы, глупые и легковесные, только идут диссидентам на пользу и помогают им торжествовать! Но если бы за посещение сектантского собрания, молился ли там верный или проповедовал, расплачиваться нужно было не монетами, а виселицей и если бы сектантов присуждали к каторжным работам, а не к штрафам, страдающих за веру было бы гораздо меньше! Теперь перевелись охотники до мученичества, и, если многие диссиденты бывают в церкви для того, чтоб их избрали мэрами и шерифами, они согласны будут посетить и сорок храмов ради того, чтобы не угодить на виселицу!

Достало бы и одного закона, но только строгого и точно соблюдаемого, о том, что всякий посещавший их гнусавые молельни присуждается к изгнанию, а проповедник отправляется на виселицу, и дело было б решено! Диссиденты бы валом повалили в Церковь! Уже при жизни следующего поколения мы стали бы единою церковью!

Взимать пять шиллингов за то, что человек в течение месяца не подходил к причастию, и шиллинг за то, что он не приближался к церкви целую неделю, — это неслыханное средство обращения в истинную веру! Так можно лишь предоставлять за деньги право согрешать!

И если в этом нет злоумышления, то отчего мы не даем им полную свободу? А если есть, какими деньгами его окупишь? Мы продаем им право согрешать и против Господа, и против власти предрежущей!

И если они все же совершают тягчайшее из преступлений, направленное против мира и блага Англии и против славы Божией во поруганье церкви и на пагубу души, пусть это числится среди наиболее страшных злодеяний и получает соответствующую кару!

Мы вешаем людей за пустяки и отправляем в ссылку за бездельицы, тогда как от обиды, нанесенной Господу и церкви, достоинству религии и благу человека, нетрудно откупиться за пять шиллингов. Это такое унижение христианского правительства, в котором стыдно дать отчет потомкам!

За то, что люди согрешают против Бога, не соблюдают его заповеди, бунтуют против церкви, не повинуются наказам тех, кого он дал им в управители, им следует назначить наказание, сравнимое по тяжести с проступком! Тогда вновь расцветет наша религия, и наша разделившаяся нация вновь обретет единство.

Что же касается словечек вроде «варварский», «жестокый», которыми вначале нарекут такой закон, то их забудут очень скоро. Я вовсе не хочу сказать, что каждого диссидента следует приговорить к повешению или к изгнанию из Англии, отнюдь нет. Но для того чтоб подавить мятеж или волнение, достаточно бывает покарать зачинщиков, а прочих можно и простить. И если наказать по всей строгости закона наиболее упорствующих, это, бесспорно, приведет толпу к повиновению.

Чтоб осознать неоспоримую разумность и, более того, заведомую простоту сего решения, давайте разберемся, по какой причине наша страна раздроблена на партии и секты, а также спросим у диссидентов, чем они могут оправдать раскол. И заодно ответим сами, из-за чего мы, паства Церкви Англии, покорно сносим все бесчинства и обиды, какие ей наносит эта братия?

Один из их известных пастырей<sup>20</sup>, такой же грамотей, как большинство их просвещенного сообщества, в своем ответе на памфлет «Исследование случаев частичного согласия с доктриной Церкви Англии» высказывается в следующем роде на странице двадцать седьмой: «Разве мы представляем собой два разных исповедания? Что отличает веру Церкви Англии от вероучения молитвенных собраний? У

нас нет расхождений в существе религии, и то, что нас разъединяет, касается лишь менее важных и второстепенных положений»; на странице двадцать восьмой он продолжает в том же роде: «Ваше учение изложено в тридцати девяти догматах<sup>21</sup>, из которых тридцать шесть, с которыми мы все согласны, содержат ее сущность, и только относительно трех дополнительных меж нами нет единодушия».

Итак, по собственному их признанию, они считают нашу церковь истинной, а расхождения меж нами — несколькими несущественными частностями, — не согласятся же они на казни и галеры, на истязания и на разлуку с родиной из-за подобных пустяков? Ну нет, они наверняка окажутся умнее! И даже собственные принципы их не подвигнут на такое!

Не сомневаюсь, что закон и разум возымеют действие! И хоть вначале наши меры могут выглядеть крутыми, уже их дети не ощутят и толики жестокости, ибо с заразой будет навсегда покончено! Когда болезнь исцелена, к больному не зовут хирурга! Но если они будут продолжать упорствовать в грехах и рваться в преисподнюю, пускай весь мир узнает и осудит их упрямство, несовместимое с их собственными принципами.

Тем самым отпадет упрек в жестокости, с их сектой будет навсегда покончено, и дело больше не дойдет до смут и столкновений, в которые они так часто вовлекали Англию.

Их много, и у них тугие кошельки, из-за чего они исполнены высокомерия, которое отнюдь не побуждает нас к ответному терпению и, более того, склоняет к мысли, что нужно торопиться и либо поскорей вернуть их в лоно церкви, либо убрать навеки с нашего пути.

Благодаренье Богу, они теперь совсем не так страшны, как прежде, но если мы позволим им вернуть былую силу, то будет наше собственное упущенье! И Провидение и Церковь Англии, как кажется, желают одного — чтоб мы освободились от смутьянов, мешающих спокойствию страны, и ныне нам дарован к тому случай.

Мы полагаем, что английский трон был уготован нашей королеве ради того, чтобы она своей рукой восстановила права церковные, равно как и гражданские.

Мы полагаем, что по сей причине вся жизнь в стране разительно переменилась в какие-нибудь считанные месяцы; и лучшие мужи,

народ и духовенство — все выступают заодно, все сходятся на том, что пробил час освобождения церкви!

Вот для чего нам Промыслитель ныне даровал такой парламент, такую конвокацию<sup>22</sup>, такое джентри! И такую королеву, каких дотеле не было в стране.

А если мы упустим эту редкую возможность, чем может обернуться наше небреженье? Короне предстоят тогда большие испытания. Голландец сядет на престол — и все наши надежды и труды пойдут прахом! Имей все наши будущие государи из его династии наилучшие намерения, они останутся пришельцами! Понадобятся годы на то, чтоб приспособить чуждый дух к особенностям нашего правления, к заботам нашего отечества. Кто знает, сколько нужно поколений, чтобы на нашем троне воцарилось сердце, исполненное столь великой чистоты и пыла, горячего участия и ласки, какие согревают ныне нашу церковь!

Для всех, кто предан Церкви Англии, настало время, не теряя ни минуты, и вознести, и укрепить ее столь основательно, чтоб она больше не могла подпасть под иго чужеземцев или страдать от распрей, заблуждений и раскола!

Я был бы очень рад, если бы к сей заветной цели вели бескровные и мирные пути, но порча слишком далеко зашла, и рана загноилась, затронуты все жизненные центры, и исцеление сулит лишь нож хирурга! Исчерпаны все способы воздействия: и сострадание, и кротость, и увещания, но тщетно — облегчение не наступило!

Сектантский дух настолько овладел умами, что многие во всеуслышанье бросают вызов церкви! Дом Божий стал им ненавистен! И более того, они внушили своим детям такую предубежденность и отвращение к нашей святой вере, что темная толпа всех нас считает за язычников, творящих культ Ваала! Им кажется грехом переступить пороги наших храмов. Должно быть, даже первые христиане гораздо менее чуждались капищ и кровавых жертвоприношений, сложенных к ногам кумиров, и иудеи меньше избегают есть свинину, нежели многие диссиденты чураются святого храма и отправляемого там богослужения.

Строптивцев вместе с их исповеданием необходимо истребить! Пока их племя что ни день наносит невозбранно оскорбленье Господу, пороча его тайнства и службу, мы пренебрегаем своим долгом перед ним и перед нашей Матерью — Святою Церковью.

Как сможем мы ответить перед Господом, и перед церковью, и перед нашими потомками за то, что оставляем их в сетях у фанатизма, заблуждений и упрямства, гнездящегося в самом сердце нации? Как мы ответим им за то, что дозволяем недругу разгуливать по улицам страны, чтобы он мог привлечь к себе наших детей? Как оправдаемся за то, что подвергаем нашу веру угрозе полного искоренения?

Чем это лучше, чем тенета, в которые нас уловляла римско-католическая церковь и от которых нас освободила Реформация? То и другое — крайности, хотя и в разном роде, но ведь для истины губительны любые заблуждения, которые нас разделяют. Те и другие равно вредны для нашей церкви и для спокойствия отечества! Скажите, отчего признать иезуита хуже, чем фанатика? И чем папист, который верует в семь таинств, опасней квакера, не верующего ни в одно из них? Мне также невдомек, чем монастырь страшней молитвенного дома!

Увы, о Церковь Англии! Теснимая папистами, гонимая диссидентами, она распята между двух разбойников! Но пробил час — пора распять разбойников!

Пусть на костях врагов воздвигнется ее строение! Заблудшие, что захотят вернуться в ее лоно, всегда найдут открытыми врата ее любви и милосердия, но твердолобых пусть сожмет железная рука!

Пусть верные сыны святой, многострадальной Матери, узнав о ее бедствиях, ожесточат свои сердца и ополчатся на ее гонителей!

Пусть Всемогущий Бог вдохнет в сердца всех тех, кто верен правде, решимость объявить войну гордыне и антихристу, дабы изгнать из нашего отечества коснеющих в грехе и не дозволить расплодиться их потомству!

## Примечания

<sup>1</sup> Памфлет был опубликован 1 декабря 1702 г. Памфлет, направленный против религиозного фанатизма и нетерпимости, написан от лица непримиримого к инакомыслящим «энтузиаста». Спустя некоторое время после его публикации Дефо был приговорен к позорному столбу, тюрьме и штрафу. В начале правления королевы Анны, уже летом 1702 г., партия тори, рассчитывая на поддержку королевы, известной своей приверженностью Церкви Англии, начинают проповедовать закрытие диссентерских академий. 4 ноября в палату общин был впервые внесен на обсуждение Билль о временном единоверии. Ответом тем, кто хотел лишить диссентеров гражданских и религиозных свобод, прозвучал памфлет Дефо «Рассуждение о временном единоверии». Как это нередко случалось с Дефо, его мнение, основанное на принципах веротерпимости, не могло удовлетворить крайних ни в той, ни в другой партии. Его единоверцы диссентеры, особенно те из них, кто стремился к различного рода государственным должностям, дорожили временным единоверием как необходимой уловкой. Дефо же полагал практику единократного совершения обряда вопреки своей вере лицемерной и не одобрял ее. Пусть лучше на какое-то время диссентеры пойдут на утрату своих гражданских прав, ибо больше, чем они, от этого пострадает все общество, лишившись участия в своих делах столь полезных членов. Дефо верил, что разум и соображения пользы незамедлительно восторжествуют над фанатизмом, а значит, восторжествует и истинная веротерпимость, допускающая различие убеждений открыто, не требуя для него благовидных предлогов. Дефо возражал против временного единоверия, но по причинам, противоположным тем, которые заставляли высокоцерковников добиваться его запрещения особым биллем: им оно казалось проявлением излишней, а ему — недостаточной веротерпимости.

<sup>2</sup> То есть с тех пор, как в 1689 г. принят Закон о веротерпимости.

<sup>3</sup> ...данную законному и правомочному монарху... — Т. е. Якову II, которого многие тори продолжали считать единственным законным королем и после 1689 г.

<sup>4</sup> ...многие новообращенные во Франции... — Те из французских протестантов, кто не эмигрировал после отмены в 1685 г. Нантского эдикта, были вынуждены хотя бы по видимости принять католичество.

<sup>5</sup> После умеренного правления Елизаветы первый король из династии Стюартов Яков I повел более жесткую политику в отношении пуритан; в 1604 г. он потребовал от всего духовенства принять веру по установленному ритуалу к 30 ноября и в ответ на их возражения произнес знаменитые слова: «Не будет епископа, не будет и короля», тем самым утверждая свою неколебимую приверженность англиканской епископальной церкви.

<sup>6</sup>...переселиться в Новую Англию... — Корабль «Майский цветок», на котором отправились в Америку первые колонисты-пуритане, отплыл 6 сентября 1620 г.

<sup>7</sup>...Кроме безжалостных царубийц... — Перед своей реставрацией Карл II обещал полное прощение участникам революции, но, заняв трон, предал казни или вынудил к изгнанию тех, кто был непосредственно причастен к казни его отца.

<sup>8</sup> Речь идёт о разоблаченном в 1683 г. заговоре кромвелевских офицеров, который дал повод для репрессий против оппозиционеров-вигов.

<sup>9</sup> Хотелось бы узнать у «Наблюдателя»... — Журнал, издававшийся Джоном Татчином, которому Дефо отвечал в «Чистокровном англичанине» Епископальная церковь в Шотландии была уничтожена законом 22 июля 1689 г., за чем действительно последовало немало жестокостей со стороны пресвитериан. Упоминаемый далее трактат появился в 1691 г.

<sup>10</sup>...гнусаемое собрание шотландских долгопых... — Пуританская манера монотонно и в нос исполнять гимны была объектом нескончаемых насмешек.

<sup>11</sup> Короны двух этих государств с недавних пор передаются не по наследственному праву... — Его нарушением тори и часть вигов считали как правление Вильгельма, так и Закон о престолонаследии 1701 г., отдававший корону Ганноверской династии.

<sup>12</sup>...нас очень много... — Сам Дефо в «Обзрении» (1712, 20 сентября) полагал, что в Англии два миллиона диссентеров.

<sup>13</sup> Когда из обращения изымали старую монету... — Реформа, заключающаяся в перечеканке монет, проводилась в 1695 г. Старые золотые и серебряные монеты, не имевшие по краям насечки, обрезались злоумышленниками и становились неполноценными.

<sup>14</sup> Шефтсбери, Энтони Эшли Купер, граф (1621—1683) — один из основателей партии вигов, еще в 1681 г. вынужденный бежать (вместе с внуком, будущим философом, и своим секретарем — Джоном Локком) в Голландию, где он и умер.

<sup>15</sup> Аргайл, Арчибальд Кэмбелл, граф (1629—1685) — наследник влиятельнейшего шотландского рода, как и его отец, казненный в 1661 г. за содействие Кромвелю, был казнен за поддержку «протестантскому герцогу» Монмуту.

<sup>16</sup> Что вам соделать с сестрою вашею... — Цитата из Библии («Песнь песней», VIII, 8).

<sup>17</sup> Act de Haeretico Comburendo (1382) — закон, позволявший епископу без суда приговаривать еретика к сожжению; отменен в Англии в 1677 г.

<sup>18</sup> Сципион Африканский Старший (230—183 до н. э.) — прославившийся своей доблестью и упорством римский полководец, победитель Ганнибала, неустанно требовавший разрушения его столицы — Карфагена.

<sup>19</sup> Кротчайший и милосердный Моисей... — В Библии (Книга Исхода, XXXII)

рассказывается о том, что, пока Моисей беседовал с богом, его народ, поколебавшийся в вере, потребовал от старшего Моисеева брата Аарона сотворить золотого тельца, которому люди и начали поклоняться. Возвратившись, Моисей в гневе разбил принесенные им священные скрижали божественного откровения и поразил мечом виновных, число которых Дефо преувеличивает, называя тридцать три тысячи вместо трех в тексте Библии.

<sup>20</sup> Один из известных пастырей... — Автором названного памфлета был сам Дефо.

<sup>21</sup> Ваше учение изложено в тридцати девяти догматах... — Именно в такое число доктринальных положений было заключено в 1563 г. учение англиканской церкви. Это был ряд пунктов, вызвавший полемику и разногласия с другими христианскими учениями. В свою очередь диссентеры упорно отказывались целиком принимать тридцать девять догматов, особенно ожесточенно отвергая статьи 34, 35, 36. Они отказались следовать «традиции», то есть признать непререкаемым авторитет основных истолкователей и комментаторов Священного писания; отвергли подчинение епископам и отправление службы по утвержденному тексту молитвенника.

<sup>22</sup>...Конвокация — со времен раннего средневековья (VIII в.) существующие собрания клира Кентерберийского и Йоркского архиепископств Англии; обладали законодательной властью. В начале XVIII в. партийные склонности церковнослужителей распределились таким образом: вигов поддерживали более образованные и веротерпимые епископы, низшее же, преимущественно сельское, духовенство взяло сторону тори, обеспечив им большинство в конвокациях. Это стало причиной того, что с приходом вигов к власти — с 1717 г. и до конца века — конвокации не созывались.

## Джонатан Свифт

### Размышления о палке для метлы<sup>1</sup>

Эту одинокую палку, что ныне видите вы бесславно лежащей в забытом углу, я некогда знавал цветущим деревом в лесу. Была она полной соков, убрана листьями и украшена ветвями. А ныне тщетно хлопотливое искусство человека пытается соперничать с природой, привязывая пучок увядших прутьев к высохшему обломку. В лучшем случае она являет собою лишь полную противоположность тому, чем была прежде: выкорчеванное дерево — ветви на земле, корни — в воздухе.

Ныне пользуется ею каждая замызганная девка для своей черной работы; и по капризу судьбы она обречена содержать в чистоте другие вещи, сама оставаясь в грязи. А затем, изношенную дотла на службе у горничных, выбрасывают ее вон либо употребляют ее в последний раз на растопку. И когда я смотрел на нее, то вздохнул и промолвил: истинно, и человек — это палка от метлы. Природа послала его в мир крепким и сильным, был он цветущим, и голова его была покрыта густыми волосами (сей прирожденной порослью этого мыслящего растения). И вот топор излишеств отсек его зеленые ветви, и стал он поблекшим обломком. Тогда он прибегает к искусству и надевает парик, тщеславясь противоестественной копной густо напудренных волос, которые никогда не росли на его голове. Но, право, если бы наша метла возымела желание выступить перед нами, гордясь похищенным у березы убором, который никогда не украшал ее прежде, вся в пыли, даже если то сор из покоев прелестнейшей дамы, как бы смеялись мы над ней и презирали ее тщеславие, мы — пристрастные судьи собственных достоинств и чужих недостатков!

Но, пожалуй, скажете вы, палка метлы лишь символ дерева, повернутого вниз головою. Подождите, что же такое человек, как не существо, стоящее на голове? Его животные наклонности постоянно одерживают верх над разумными, а голова его пресмыкается во прахе — там, где надлежит быть его каблукам. И все же, при всех своих недостатках, он провозглашает себя великим преобразователем мира и исправителем зла, устранителем всех обид; он копается в каждой грязной дыре естества, извлекая на свет открытые им пороки, и вздымает облака пыли там, где ее прежде не было, вбирая в себя те самые скверны, от которых он мнит очистить мир.

Свои последние дни растрачивает он в рабстве у женщин, и притом наименее достойных. И когда износит себя дотла, то, подобно брату своему, венику, выбрасывается вон либо употребляется на то, чтобы разжечь пламя, у которого могли бы погреться другие.

### **Примечания**

<sup>1</sup> Памфлет «Размышления о палке от метлы» (1703 г.) — пародия на популярные в начале XVIII в. в Англии «Благочестивые размышления» моралиста-проповедника и ученого-химика Роберта Бойля (1627–1691). Впервые опубликовали спустя пять лет в первом сборнике памфлетов Свифта. Печатается по: Джонатан Свифт. Памфлеты. / Пер. М. Шершевской. М., 1955.

## Скромное предложение<sup>1</sup>,

имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества.

Печальное зрелище предстает перед теми, кто прогуливается по этому большому городу или путешествует по стране, когда они видят на улицах, на дорогах и у дверей хижин толпы нищих женщин с тремя, четырьмя или шестью детьми в лохмотьях, пристающих к каждому прохожему за милостыней. Эти матери, не имея возможности честным трудом заработать себе на пропитание, вынуждены все время блуждать по улицам, вымаливая подаяния для своих беспомощных младенцев; а те, когда вырастают, или становятся ворами, за отсутствием работы, или покидают свою любимую родину для того, чтобы сражаться за претендента на трон в Испании<sup>2</sup>, или же продают себя на Барбадос<sup>3</sup>.

Я думаю, что все партии согласны с тем, что такое громадное количество детей на руках, на спине или под ногами у матерей, а часто и у отцов, представляет собою лишнюю обузу для нашего королевства в его настоящем плачевном положении<sup>4</sup>. Поэтому всякий, кто мог бы изыскать хорошее, дешевое и легкое средство превратить этих людей в полезных членов общества, вполне заслужил бы, чтобы ему воздвигли памятник как спасителю отечества<sup>5</sup>.

Но моя задача отнюдь не ограничивается заботой о детях одних только профессиональных нищих; она гораздо шире и распространяется вообще на всех детей определенного возраста, родители которых по существу так же мало способны содержать их, как и те, кто просит милостыню на улицах.

Со своей стороны, обдумывая в течение многих лет этот важный вопрос и зрело взвешивая некоторые предложения наших прожектеров, я всегда находил, что они грубо ошибаются в своих расчетах.

Правда, только что родившийся младенец может прожить целый год, питаясь молоком матери, с незначительным прибавлением другой пищи, которая обойдется не больше, чем два шиллинга. Эту сумму мать, конечно, может добыть или деньгами, или в виде остатков пищи, пользуясь своим законным правом просить милостыню. А по отношению к детям, достигшим года, я именно и предлагаю применить такие меры, благодаря которым они не будут в дальнейшем нуждаться в

пище и одежде и не только не станут бременем для своих родителей или для своего прихода, но, напротив, сами будут способствовать тому, чтобы многие тысячи людей получали пищу и отчасти одежду.

Другая важная выгода моего проекта заключается еще и в том, что он положит конец добровольным абортам и ужасному обычаю женщин убивать своих незаконных детей (обычай, увы, очень распространенный у нас!). При этом бедные невинные младенцы несомненно приносятся в жертву с целью избежать не столько позора, сколько расходов, и это обстоятельство способно исторгнуть слезы из глаз и возбудить сострадание в самом жестоком и бесчеловечном сердце.

Поскольку население нашего королевства насчитывает сейчас полтора миллиона, то, по моим расчетам, среди них может оказаться около двухсот тысяч женщин, способных иметь детей. Из этого числа я вычитаю тридцать тысяч супружеских пар, которые в состоянии прокормить своих детей (хотя я не думаю, чтобы их было так много, учитывая нынешнее трудное положение в королевстве). Но если и допустить, что это так, то все же останется еще сто семьдесят тысяч женщин, способных иметь детей. Я вычитаю еще пятьдесят тысяч женщин, в число которых входят женщины с выкидышами или те женщины, чьи дети умерли от несчастных случаев или болезней на первом году жизни. Остается, таким образом, сто двадцать тысяч детей, рождающихся ежегодно от бедных родителей.

Возникает вопрос: как вырастить и обеспечить это количество детей? Как я уже сказал, при настоящем положении вещей это совершенно не представляется возможным с помощью тех способов, которые до сих пор предлагались. Ибо мы не можем найти для них применения ни в ремеслах, ни в сельском хозяйстве.

Мы не строим домов (я имею в виду в деревне) и не возделываем землю<sup>6</sup>. Эти дети очень редко могут добыть себе пропитание воровством, раньше чем они достигнут шестилетнего возраста, если только они не одарены выдающимися способностями. Впрочем, я должен признать, что они усваивают основы этого занятия гораздо раньше, однако в это время их можно считать только учениками. Как мне сообщило одно ответственное административное лицо из графства Кэйвен, ему не приходилось встречать больше одного-двух случаев воровства в возрасте до шести лет, даже в части королевства, широко известной своими быстрыми успехами в этом искусстве.

Наши купцы убеждали меня в том, что мальчик или девочка в возрасте до двенадцати лет — не ходкий товар; и даже достигнув этого возраста, они оцениваются не свыше трех фунтов или самое большее в три фунта, два шиллинга и шесть пенсов. Это не может возместить затраты родителей или государства, так как пища и лохмотья ребенка стоят по крайней мере в четыре раза дороже.

Поэтому я скромно предлагаю на всеобщее рассмотрение свои мысли по этому поводу, которые, как я надеюсь, не вызовут никаких возражений.

Один очень образованный американец, с которым я познакомился в Лондоне, уверял меня, что маленький здоровый годовалый младенец, за которым был надлежащий уход, представляет собою в высшей степени восхитительное, питательное и полезное для здоровья кушанье, независимо от того, приготовлено оно в тушеном, жареном, печеном или вареном виде. Я не сомневаюсь, что он так же превосходно подойдет и для фрикассе или рагу.

Я беру на себя смелость просить всех обратить внимание и на то обстоятельство, что из учтенных нами ста двадцати тысяч детей двадцать тысяч можно сохранить для дальнейшего воспроизведения потомства, причем только четвертая часть этих младенцев должна быть мужского пола. Это больше, чем обычно оставляется баранов, быков или боровов; я принимаю здесь во внимание, что эти дети редко бывают плодом законного брака, обстоятельство, на которое дикари не обращают особого внимания, и поэтому одного самца будет вполне достаточно, чтобы обслужить четырех самок. Остальные же сто тысяч, достигнув одного года, могут продаваться знатным и богатым лицам по всей стране. Следует только рекомендовать матерям обильно кормить их грудью в течение последнего месяца, с тем чтобы младенцы сделались упитанными и жирными и хорошо годились бы в кушанье для изысканного стола. Из одного ребенка можно приготовить два блюда на обед, если приглашены гости; если же семья обедает одна, то передняя или задняя часть младенца будет вполне приемлемым блюдом, а если еще приправить его немного перцем или солью, то можно с успехом употреблять его в пищу даже на четвертый день, особенно зимою.

Я рассчитал, что только что родившийся ребенок весит в среднем двенадцать фунтов, а в течение года, при хорошем уходе, достигнет двадцати восьми фунтов.

Я согласен, что это будут несколько дорогие блюда и потому подходящие для помещиков, которые, пожрав уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полное право и на их потомство.

Детское мясо будет продаваться в течение всего года, но особенно много его будет в марте, а также несколько раньше и немного позже. Ибо один серьезный писатель, знаменитый французский врач<sup>7</sup>, сообщил нам, что так как рыба — пища весьма возбуждающая, то в романских католических странах примерно через девять месяцев после поста рождается гораздо больше детей, чем в любое другое время года. Поэтому приблизительно через год после поста рынки будут завалены детским мясом, так как в нашем королевстве приходится трое детей-католиков на одного протестантского младенца.

Косвенной выгодой всего этого явится уменьшение среди нас числа сторонников папы.

Я уже вычислил, что стоимость содержания ребенка из бедной семьи (в этот список я включаю всех поселян, владеющих хижиной, чернорабочих и четыре пятых фермеров-арендаторов) равняется примерно двум шиллингам в год, включая сюда и лохмотья. И я думаю, что ни один джентльмен не пожалеет дать десять шиллингов за тельце хорошего, жирного младенца, из которого, как я уже сказал, можно приготовить четыре блюда превосходного питательного мяса и угостить за обедом приятеля или просто подать на стол, когда семья обедает без гостей. Таким образом, помещик научится быть хорошим хозяином и завоеует себе популярность среди своих арендаторов. А мать ребенка получит восемь шиллингов чистой прибыли и будет в состоянии работать, пока не произведет на свет другого младенца.

Люди более бережливые (я должен заметить, что время требует бережливости) могут еще вдобавок содрать и кожу; из надлежащим образом обработанной кожи младенца могут быть изготовлены превосходные дамские перчатки, а также летняя обувь для изящных джентльменов.

Что же касается нашего города Дублина, то бойни могут быть устроены в самых удобных местах, причем можно быть уверенным, что в мясниках недостатка не будет. Я бы все же рекомендовал покупать детей живыми, а не готовить их еще теплыми из-под ножа, как мы жарим поросят.

Один искренне любящий свою родину и весьма почтенный человек, добродетели которого я высоко ценю, недавно, разговаривая со

мною на эту тему, соизволил внести в мой проект небольшое дополнение. Он сказал, что многие джентльмены нашего королевства за последнее время уничтожили во время охоты почти всех своих оленей, и он полагает, что недостаток оленины можно было бы прекрасно возместить мясом подростков, мальчиков и девочек, не старше четырнадцати и не моложе двенадцати лет. Ведь в настоящее время огромному числу людей обоего пола во всех странах грозит голодная смерть из-за отсутствия работы, и родители, если они еще живы, а за неимением их — ближайшие родственники будут рады избавиться от детей. Но, отдавая должное мнению моего достойнейшего друга и столь славного патриота, я все же должен заметить, что не могу с ним полностью согласиться. Ибо что касается мальчиков, то мой знакомый американец на основании своего собственного богатого опыта уверял меня, что их мясо обычно бывает жестким и тощим, как у наших школьников от их большой подвижности, и имеет неприятный привкус, а откармливать их было бы слишком невыгодно, так как не оправдало бы расходов. Что же касается девочек, то здесь я осмелюсь высказать свое скромное соображение в том смысле, что это будет все же некоторая утрата для общества, так как они сами вскоре должны будут стать матерями. К тому же весьма вероятно, что некоторые щепетильные люди станут осуждать это мероприятие (хотя, конечно, совершенно несправедливо), как граничащее с жестокостью, что, по моему мнению, всегда является самым серьезным возражением против любого проекта, как бы хороши ни были его конечные цели.

В оправдание моего друга скажу только, что идею этого мероприятия, по его собственному признанию, ему внушил знаменитый Салманазар<sup>8</sup>, уроженец острова Формоза, который приехал оттуда в Лондон около двадцати лет тому назад. Беседуя с моим другом, он рассказал ему, что на его родине, когда случается казнить людей еще молодых, палач обычно продает тело казненного знатым людям, как самое высшее лакомство, и что в то время, когда он еще жил там, тело одной полненькой пятнадцатилетней девушки, распятой за покушение отравить императора, было прямо с креста продано по частям первому министру его величества и другим знатым придворным мандаринам за четыреста крон. Действительно, я не могу отрицать, что если бы то же самое сделать с некоторыми полненькими молодыми девушками в нашем городе, которые, не имея за душой ни гроша, не показываются в обществе иначе как в паланкине и появляются в театрах и на вечерах

в изысканных заграничных туалетах, за которые они никогда не заплатят, — то наше королевство ничего бы от этого не потеряло.

Некоторых лиц с мрачным складом характера весьма беспокоит огромное количество старых, больных или искалеченных бедняков, и меня просили подумать о таком средстве, которое могло бы помочь нации освободиться от столь тяжелого бремени. Но меня это совершенно не волнует, так как хорошо известно, что они ежедневно умирают и гниют заживо от холода, голода, грязи и насекомых, и притом с такой быстротой, которая превосходит все возможные ожидания.

Что же касается молодых поденщиков, то они находятся теперь в положении, дающем надежду на такой же исход; они не могут получить работу и вследствие этого постепенно истощаются от недостатка питания до такой степени, что если их и нанимают на какую-нибудь случайную работу, у них нет сил ее выполнить, и таким образом страна и они сами весьма удачно избавляются от дальнейших зол.

Я сделал слишком длинное отступление и поэтому возвращаюсь к своей основной теме.

Я полагаю, что выгоды моего предложения столь очевидны и многочисленны, что, несомненно, будут признаны в высшей степени важными.

Во-первых, как я уже заметил, проведение его в жизнь значительно уменьшит число папистов<sup>9</sup>, которые из года в год наводняют нашу страну, так как они являются основными производителями детей для нации, а вместе с тем — и нашими самыми опасными врагами. Они нарочно не покидают пределов страны, чтобы отдать королевство во власть претендента, надеясь воспользоваться отсутствием большого количества добрых протестантов, которые предпочли лучше покинуть свое отечество, чем остаться дома и платить против своей совести<sup>10</sup> десятину епископальному священнику.

Во-вторых, у самых бедных арендаторов найдется теперь хоть какая-нибудь ценная собственность, которую можно будет, согласно закону, описать и тем помочь уплатить ренту помещику, так как хлеб и скот у них уже отняты, а деньги — вещь в наших краях совершенно неизвестная.

В-третьих, так как содержание ста тысяч детей от двух лет и старше не может быть оценено менее, чем в десять шиллингов ежегодно за душу, то национальный доход тем самым увеличится на пятьдесят тысяч фунтов в год, не говоря уже о стоимости нового блю-

да, которое появится на столах наших богатых джентльменов с утонченным гастрономическим вкусом. А деньги будут обращаться только среди нас, так как товар полностью выращивается и производится в нашей стране.

В-четвертых, постоянные производители детей, помимо ежегодного заработка в восемь шиллингов за проданного ребенка, по прошествии первого года будут избавлены от забот по его содержанию.

В-пятых, это новое кушанье привлечет много посетителей в таверны, владельцы которых, конечно, постараются достать наилучшие рецепты для приготовления этого блюда самым тонким образом, и в результате их заведения будут посещаться всеми богатыми джентльменами, которые справедливо гордятся своим знанием хорошей кухни, а искусный повар, знающий как угодить гостям, ухитрится сделать это кушанье таким дорогим, что оно им непременно понравится.

В-шестых, это в значительной степени увеличило бы число браков, к заключению которых все разумные государства или поощряют путем денежных наград или понуждают насильственно, с помощью законов и карательных мер. Забота и нежность матерей к своим детям значительно возрастут, когда они будут уверены, что общество тем или иным путем обеспечит судьбу бедных младенцев, одновременно давая и самим матерям ежегодную прибыль. Мы были бы свидетелями честного соревнования между замужними женщинами: кто из них доставит на рынок самого жирного ребенка. Мужья стали бы проявлять такую же заботливость к своим женам во время их беременности, как сейчас к своим кобылам, готовым ожеребиться, коровам, готовым отелиться, и свиньям, готовым опороситься; и из боязни выкидыша они не станут колотить своих жен кулаками или пинать ногами (как это часто бывает).

Можно было бы перечислить еще ряд выгод. Например, увеличение экспорта говядины на несколько тысяч туш, прирост свиного поголовья и усовершенствование в искусстве приготовления хорошей свиной грудки, которой нам так не хватает из-за массового истребления поросят, слишком часто красующихся на наших столах, но ни в коем случае не идущих в сравнение ни по вкусу, ни по нарядному виду со здоровым, толстым годовалым младенцем, который, изжаренный целиком, будет замечательным блюдом на банкете лорда-мэра<sup>11</sup>

или на любом ином общественном празднестве. Но, стремясь быть кратким, я опускаю это и многое другое.

Предположив, что тысяча семейств в этом городе явятся постоянными потребителями детского мяса, не считая другие семейства, которые смогут приобретать его лишь для особо торжественных случаев, в частности, для свадеб и крестин, я рассчитал, что Дублин будет потреблять ежегодно около двадцати тысяч детских туш, а остальная часть королевства (где они, вероятно, будут продаваться несколько дешевле) — восемьдесят тысяч.

Я не предвижу никаких возражений, которые, возможно, будут выдвинуты против моего предложения, разве только станут утверждать, что тем самым значительно уменьшится население нашего королевства. Я откровенно признаю это, и действительно, именно это обстоятельство и было одной из основных целей моего предложения.

Я хотел бы, чтобы читатель обратил внимание на то, что я предназначаю мое средство исключительно для королевства Ирландии, а не для какого-либо иного государства, которое когда-нибудь существовало, существует и сможет существовать на земле. Поэтому пусть мне не говорят о других средствах, как, например, наложить на проживающих за границей налог в пять шиллингов на каждый заработанный фунт стерлингов, покупать одежду и мебель, сделанные только из отечественных материалов и на отечественных мануфактурах, полностью отказаться от всего, на чем основано развитие у нас иностранной роскоши или что ему способствует, излечить наших женщин от расточительности, связанной с гордостью, тщеславием, праздностью и игрой в карты, развить стремление к бережливости, благоразумию и умеренности, научить граждан любви к своей родине, ибо ее у нас не хватает, и этим мы отличаемся даже от лапландцев и обитателей Топинамбу<sup>12</sup>, прекратить нашу вражду и внутрипартийные раздоры и впредь не поступать как евреи, которые убивали друг друга даже в тот самый момент, когда враги ворвались в их город; быть несколько более осторожными и не продавать своей страны и своей совести за чечевичную похлебку<sup>13</sup>, возбудить в помещиках хотя бы в малейшей степени чувство милосердия по отношению к своим арендаторам и, наконец, внушить нашим торговцам дух честности, трудолюбия и предприимчивости; ведь если бы теперь было принято решение покупать только наши отечественные товары, все торговцы немедленно объединились бы для того, чтобы как можно лучше обманывать нас в

цене, мере, весе и качестве товаров. И ведь никогда еще они не принимали ни одного разумного предложения, чтобы укрепить честную торговлю, хотя подобные серьезные предложения им делались довольно часто.

Поэтому, повторяю, пусть никто не говорит мне об этих и подобных им мерах, пока ему не блеснет по крайней мере луч надежды на то, что когда-нибудь будет сделана честная и искренняя попытка претворить эти меры в жизнь.

Что касается меня самого, то я в течение ряда лет совершенно измучился, предлагая разные пустые, праздные и иллюзорные идеи. Наконец, совершенно отчаявшись в успехе, я, к счастью, внезапно натолкнулся на мысль об этом предложении, которое, будучи совершенно новым, заключает в себе нечто основательное и реальное, не требует ни особых расходов, ни больших хлопот, находится полностью в пределах наших возможностей и не таит в себе опасности навлечь на нас гнев Англии, поскольку этот сорт товара не может быть использован для экспорта, так как детское мясо слишком нежно по своей природе, чтобы сохраняться долгое время в засоленном виде, хотя я, может быть, а мог бы назвать страну, которая охотно сожрала бы всю нашу нацию даже и без соли.

В конце концов, я не так уж неистово увлечен своей собственной идеей, чтобы отвергнуть всякое другое предложение, сделанное умными людьми, если оно будет в равной степени безвредным, дешевым, удобным и эффективным.

Но прежде чем будет предложено что-либо лучшее в противовес моему проекту, я бы хотел, чтобы автор или авторы этого лучшего предложения согласились здраво обсудить два вопроса. Во-первых, каким образом при настоящем положении вещей они будут в состоянии обеспечить пищу и одежду для ста тысяч бесполезных ртов и тел; во-вторых, — поскольку в нашем королевстве имеется круглым счетом миллион человеческих существ, чьи средства к существованию, взятые вместе, все же оставят за ними долг в два миллиона фунтов стерлингов, — принимая во внимание профессиональных нищих вместе с огромной массой фермеров, крестьян, владеющих лишь хижинной, и чернорабочих с их женами и детьми, которые тоже фактически являются нищими, — я бы хотел, чтобы те политические деятели, которым не понравится мое предложение и которые, может быть, возьмут на себя смелость попытаться ответить мне, сперва спросили бы

родителей этих детей, не считают ли они теперь, что для них было бы великим счастьем, если бы в свое время их продали и съели в возрасте одного года, как я сейчас предлагаю. Ведь тем самым они избежали бы целого ряда бесконечных несчастий и бедствий, которым они подвергались все это время благодаря гнету помещиков, невозможности уплатить арендную плату без денег и без сбыта для своих продуктов, недостатку элементарного питания, отсутствию жилища и одежды для защиты от непогоды и совершенно неизбежной перспективе навсегда оставить в наследство подобные же или еще большие бедствия своему потомству.

Я с полной искренностью заявляю, что в попытке содействовать этому необходимому начинанию я не преследую ни малейшей личной выгоды, ибо у меня нет иных целей, кроме общественного блага моей родины, развития торговли, обеспечения детей, облегчения участи бедняков и желания доставить удовольствие богатым. У меня нет детей, с продажи которых я мог бы надеяться заработать хоть один пенни, так как моему младшему ребенку уже девять лет, а жена у меня пожилая и детей у нее больше не будет.

### Примечания

<sup>1</sup> Памфлет написан в 1729 году, во время одного из крупнейших за всю историю Ирландии неурожаев. Несмотря на массовый голод, приведший к вымиранию целых районов, английское правительство не предприняло никаких мер, чтобы помочь голодающим. «Скромное предложение...», полное гнева и трагической иронии, скрытых за внешне беспристрастным тоном памфлета, стало тягчайшим обвинением английскому правительству. Печатается по: Джонатан Свифт. Памфлеты / Пер. Б. Томашевского. М., 1955.

<sup>2</sup> ...сражаться за претендента в Испании... – Эмиграция из нищавшей Ирландии приобрела огромные размеры. В частности, ирландцы-католики поступали на службу в испанскую и французскую армии, где сражались против Англии и тем самым за претендента на английский трон из низложенной династии Стюартов, находившегося во Франции. В 1719 г. кардинал Ю. Альберони (1664-1752), первый министр Испании, организовал неудавшуюся попытку претендента высадиться в Англии; в составе его отряда было немало ирландцев.

<sup>3</sup> Барбадос. – На этом острове, где условия жизни были очень тяжелыми, существовала с 1625 г. английская колония

<sup>4</sup> ...в его настоящем плачевном положении. – В течение трех лет Ирландию постигали катастрофические неурожаи.

<sup>5</sup> Создавая маску прожектера, выдвигающего «скромное предложение», Свифт обращает сатиру не только и даже не столько против этого рода авантюристов, сколько против общего положения дел в Ирландии, где никто, как ему представлялось, не желал проводить в жизнь подлинно действенные меры. При том состоянии, в каком находится страна, нет места ничему естественному и святому, как, например, родительская любовь, но могут обрести реальность самые чудовищные и фантастические планы. Такова мысль писателя, намеченная еще в первом из «Писем Суконщика». Англия пожрала Ирландию – почему бы ирландцам не начать пожирать друг друга? Пародируя политическую и социальную арифметику своей эпохи, Свифт существенно уточняет общепринятый тезис, согласно которому главное богатство страны составляют люди. В государстве, подобном Ирландии, утверждает он, люди становятся бременем; указанный принцип действителен лишь в том случае, если население страны обеспечено работой, дающей средства к существованию. Сатирический эффект маски создается тем, что через бесстрастную деловитость и точность благие намерения фиктивного автора обнаруживают чудовищную жестокость, а манипулирование расчетами создает видимость реального проекта.

<sup>6</sup>...и не возделываем землю. – Вследствие ограничительного законодательства в отношении сельского хозяйства Ирландии большие массивы пахотных земель не возделывались или обращались в пастбища для овец.

<sup>7</sup>...один серьезный писатель, знаменитый французский врач... – Приводятся рассуждения Пантагрюэля из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. V, гл. 19).

<sup>8</sup> Сальманазар Жорж (1679-1763) издал в 1704 г. в Лондоне «Историческое и географическое описание острова Формозы»; подлинное имя и фамилия этого француза, выдававшего себя за уроженца Формозы, неизвестны.

<sup>9</sup> Паписты – сторонники Римских пап, последователи католицизма. Здесь Свифт пародирует аргументацию протестантских экстремистов, предлагавших принять законы об ограничении браков среди бедняков-католиков.

<sup>10</sup>...платить против своей совести десятину епископальному священнику-идолопоклоннику. – Речь идет о неконформистах, отказывавшихся платить церковную десятину англиканской церкви по мотивам вероисповедания.

<sup>11</sup>...на банкете лорда-мэра... – Речь идет о ежегодном торжественном обеде, который дает вновь избранный лорд-мэр города Дублина.

<sup>12</sup>...обитателей Топинамбу... – Одноименное название племени, населявшего один из районов Бразилии, было нарицательным для обозначения дикаря в состоянии самого крайнего невежества.

<sup>13</sup>...не продавать своей страны и своей совести за чечевичную похлебку... – Согласно библейской легенде, Исаи продал право своего первородства младшему брату Иакову за миску чечевичной похлебки (Бытие, гл. XXV, ст. 31-34).

## Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. В чем выражается крупномасштабность содержания памфлетов Д. Дефо и Дж. Свифта, их социальная глобальность и глубина обобщения?
2. Как выражается сарказм в памфлетах?
3. В чем состоит назидательность памфлетов?
4. Как выражается гротескная заостренность в памфлетах?
5. Какие формы авторского присутствия представлены в памфлетах?
6. Насколько явно выражается позиция автора в памфлетах?
7. Какие маски используют Д. Дефо и Дж. Свифт в своих произведениях?
8. Какие принципы композиции представлены в памфлетах? Приведите примеры из текста.
9. Приведите примеры абсурдных и парадоксальных высказываний или рассуждений в тексте памфлетов.
10. Охарактеризуйте эмоциональную окраску памфлетов Д. Дефо и Дж. Свифта?

## Джозеф Аддисон, Ричард Стил

### Зритель № 1

Четверг, 1 марта 1711 г.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem  
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.  
Hor.<sup>1</sup>

Я подмечал, что читатель нередко без особой охоты читает книгу, пока не узнает, каков автор — темноволос или светел, кроток или гневлив, женат или холост и прочее в том же духе, ибо иначе толком и не разберешь, к чему сей автор клонит. Дабы удовлетворить столь законное любопытство, я намереваюсь и в этом листке, и в следующем рассказать все, что предварит дальнейшие мои очерки, и поведать хотя бы немного о различных лицах, причастных к сему изданию. Поскольку немалая часть труда выпадает на мою долю — именно я составлю эти очерки, отберу их и выправлю, — то без зазрения совести начну с самого себя. Уже при рождении своем я наследовал небольшое поместье, чьи границы, по местному преданию, то бишь изгороди и канавы, были ровно такими же во времена Вильгельма Завоевателя, и земля наша переходила от отца к сыну в полной неприкосновенности, не теряя и не прибавляя ни луга, ни поля целых шесть столетий кряду. В семье моей бытует рассказ о том, что матушка, тяжелая мною, увидела на третьем месяце сон, согласно которому она произвела на свет судью. Не берусь сказать, проистекало ли это оттого, что семья наша вела тогда тяжбу, или же оттого, что отец мой был мировым судьей; да я и не столь тщеславен, чтобы счесть это предзнаменованием почестей, предназначенных мне в земной жизни, хотя именно так толковали матушкин сон все наши соседи. Толки эти, казалось бы, подтверждали небывалая моя серьезность и сразу по рождении, и в младенчестве, ибо, согласно матушкиным словам, нередко слышанным мною, я презрел погремушку, не достигнув и двух месяцев, когда же у меня резались зубы, не брал в рот колечка из гладкого коралла, пока с него не сняли колокольцев.

Больше в детстве моем ничего примечательного нет, и я обойду его молчанием. В отрочестве я слыл весьма угрюмым, но учитель меня отличал, нередко повторяя, что разум у меня крепкий и ему не будет износа. Определившись в университет, я вскоре выделился особой

молчаливостью, ибо за все восемь лет едва произнес и сотню слов, если не считать публичных актов; да и позднее не припомню, чтобы речь моя простиралась за пределы двух или трех фраз. Пребывая в обители наук, я столь прилежно предавался учению, что прочитал почти все достойные внимания книги, будь то на древних или на новых языках.

После смерти моего отца я решил посетить чужие земли и оставил университет, слывя человеком непонятым, странным, но исполненным учености, которой нимало не выказывал. Неутолимая жажда знаний водила меня по всем странам Европы, где можно было узреть хоть что-нибудь новое или примечательное; любознательность моя дошла до таких пределов, что, прочитав о спорах ученых мужей касательно египетских древностей, я отправился в самый Каир, намереваясь обмерить пирамиду; и, установив ее размеры, вернулся домой, весьма довольный собою.

Последующие годы я провел здесь, в этом городе, и меня чрезвычайно часто встречают в самых людных местах, хотя знает меня не больше полудюжины близких друзей, о которых я расскажу подробнее в следующем письме. Вряд ли найдется место сборищ, в котором бы я не появлялся. Порою меня видят в кофейне Уилла<sup>2</sup>, где я с вниманием слушаю споры о политике, которые ведут там избранные кружки. Порою я курю трубку в другой кофейне, у Чайлда, и, как бы занятый газетой «Почталион», слышу тем не менее, что говорят за каждым столиком. Воскресными вечерами я посещаю кофейню на улице Сен-Джеймс, а также порою присоединяюсь к политикам, собирающимся в комнатке за общей залой, дабы послушать их и сделать соответствующие выводы. Известно мое лицо и в греческой кофейне, и в кондитерской «Кокосовая пальма», и в театрах — «Друри-лейн», и «Хей-маркете»<sup>3</sup>. Лет десять кряду меня принимают на бирже за купца, в кофейне же у Джонатана, где собираются биржевые маклеры, — за правоверного иудея. Словом, если я вижу сборище, я к нему присоединяюсь, хотя нигде, кроме собственного клуба, не размыкаю уст.

Таким образом, я обитаю в мире скорее как зритель, наблюдающий людей, чем как участник их жизни; благодаря чему становлюсь в мыслях своих и государственным мужем, и воином, и купцом, и ремесленником, не посвящая себя никакому определенному делу. Я прекрасно знаю в теории, как быть отцом или мужем, и могу указать на правильность в домоводстве, коммерции и прочих делах много лучше

тех, кто ими занимается, подобно тому как досужий наблюдатель видит возможную ошибку, неведомую игрокам. Никогда не выказывал я пылкого пристрастия ни к одной из партий и намерен стоять в равном удалении от обоих станов, если виги или тори не вынудят меня нарушить нейтралитет какой-либо враждебной выходкой. Словом, всегда и везде я был сторонним наблюдателем, зрителем, коими и намерен остаться в сих заметках.

Я рассказал читателю ровно столько о прошлом своем и нраве, сколько надобно, чтобы он увидел, пригоден ли я к замышляемому предприятию. Прочие подробности моей занимательной жизни я сообщи при случае в будущих моих листках. Пока же, поразмыслив о том, как много я видел, слышал и читал, я стал корить себя за немногословие, и, поскольку мне некогда, да и не хочется, чтобы уста мои глаголали от избытка сердца, я решил вместо этого писать и печатать все, что переполняет душу, еще до того, как меня посетит смерть. Друзья мои нередко сетовали на то, что множеством полезнейших сведений владеет человек столь молчаливый. Посему я намереваюсь выпускать каждое утро, на благо современникам, небольшой листок, преисполненный мыслями; и, если смогу способствовать вящей радости или исправлению нравов в стране, где обитаю, я покину ее во благовремение, втайне радуясь тому, что прожил жизнь мою не напрасно.

По разным, но весьма веским причинам я не коснулся здесь трех немаловажных предметов, которые хотя бы на время останутся неведомыми: имени моего, возраста и адреса. Заверю читателя, что он узнает все необходимое; касательно же означенных сведений, я решил пока не сообщать их, прекрасно понимая при этом, что они заметно украсили бы повествование, однако сорвали бы покров неприметности, защищавший меня столь долго, и вынудили бы покориться суетной славе кофеен, всегда претившей мне, ибо я несказанно страдаю, когда ко мне обращаются и на меня глядят. По той же причине я сохраняю в строжайшей тайне обличье мое и одежду, хотя, может статься, кое-что и приоткрою в случае надобности.

Рассказав так подробно о себе, я посвящу завтрашний листок лицам, связанным со мною, ибо, как я уже указывал, замысел сего предприятия, подобно всем важным замыслам, выношен и рожден в клубе. Поскольку друзья мои препоручили представительство мне, всякий, пожелавший вступить со мною в переписку, может направлять послания Зрителю, в кофейню мистера Бакли<sup>4</sup> на улице Литтл-

Бритон; ибо читатель должен знать, что, хотя клуб наш собирается лишь по вторникам и по четвергам, особый комитет заседает всякий вечер, дабы отбирать письма, споспешествующие общему благу.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Он не из пламени дым, а из дыма светлую ясность  
Хочет извлечь, чтобы в ней явить небывалых чудовищ.

Пер. М. Гаспарова

(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 387.)

<sup>2</sup>...в кофейне Уилла. — Непременным фактом лондонской общественной жизни во второй половине XVII и в первой половине XVIII в. были кофейни. Их породила мода на кофе — все еще экзотический напиток, недавно завезенный с Востока. Ему приписывали почти чудодейственные свойства: способность возвращать не только бодрость, но здоровье, обострять ум. За чашкой кофе формируется общественное мнение. Кофейни становятся предвестниками клубов (появившихся только в последней трети XVIII в.), играют роль парламентских кулуаров, а иногда вынужденно заменяют и сам годами не созываемый парламент. Кофейни, которых в эпоху «Зрителя» в Лондоне существовали десятки, разделялись по профессиональным склонностям, партийным пристрастиям. У Уилла традиционно собирались литераторы; у Чайлда, ввиду близости к собору святого Павла, — служители культа; в Сен-Джеймской — виги, а невдалеке от нее, на той же улице, в «Кокосовой пальме», — тори; в греческой — юристы, но также и литераторы, туда, согласно объявлению в первом номере, должны были направляться все ученые статьи, предназначенные для «Болтуна»; и, наконец, у Джонатана — биржевые дельцы.

<sup>3</sup> Друри-лейн и Хеймаркет — в первое десятилетие XVIII в. конкуренцией этих театров сменилось предшествующее соперничество между «Друри Лейн» и «Линкольнз Инн Филдз».

<sup>4</sup> Сэмюэль Бакли — известный издатель, в том числе первой ежедневной газеты «Дэйли курант»; тогда было обычным получать почту на адрес кофейни или таверны.

## Зритель № 2

Пятница, 2 марта 1711 г.

... ast alli sex  
Et plures uno conclamant ore.  
Juv.<sup>1</sup>

Первый из нашего сообщества родился в Вустершире, он знатного рода, баронет, и зовется сэром Роджером де Каверли<sup>2</sup>. Прадед его изобрел сельский танец<sup>3</sup>, прославивший имя сей семьи. Всем, кто бывал в тех краях, ведомы способности и достоинства сэра Роджера. Ведет он себя своеобразно, но странности его проистекают от здравого смысла и противоречат принятому в свете лишь настолько, насколько наш баронет расходится со светом в мнениях. Как бы то ни было, странный нрав не вызывает к нему вражды, ибо сэр Роджер лишен как угрюмости, так и упрямства; а погрешности против этикета лишь усугубляют особую любезность и предупредительность ко всем, кто идет с ним знакомство. Приезжая в Лондон, он живет на Сохо-сквер<sup>4</sup>. Ходит слух, что он остался холост, ибо был обманут в любви коварной и прекрасной вдовой из соседнего графства; прежде же, до разочарования, по праву слыл блистательным джентльменом, нередко ужинал с лордом Рочестером и сэром Джорджем Эгериджем, дрался на дуэли, впервые приехав в Лондон, и отдубасил в кофейне самого Даусона, когда сей невежа назвал его зеленым юнцом. Оскорбленный вышеозначенной вдовою, он оставался печальным и угрюмым полтора года кряду, а после, преодолев скорбь по природной живости нрава, все же перестал заниматься собой и печься об изящном обличье и носит по сию пору камзол и плащ того покроя, какой носили во времена его несчастья, в веселые же минуты говорит нам, что покрой этот успел двенадцать раз войти в моду и выйти из нее с тех пор, как он его надел. Поговаривают, будто сэр Роджер, забыв жестокою красавицу, стал столь неприхотлив в своих желаниях, что грешил против целомудрия с нищенками и цыганками; но друзья его полагают, что это скорее шутка, чем правда. Сейчас ему пошел пятьдесят шестой год, он весел, радушен и приветлив, а оба его дома — и городской, и сельский — славятся гостеприимством; людей он очень любит и ведет себя с ними столь весело и просто, что и его самого скорее любят, чем почитают. Арендаторы его богатеют, слуги лоснятся от довольства, молодые дамы питают к нему приязнь, молодые мужчины ценят его друж-

бу; входя в чей-либо дом, он называет слуг по имени и говорит с ними, едва ступив на лестницу. Отмечу также, что сэр Роджер входит в число мировых судей, председательствует на сессиях суда и не далее как три месяца тому назад с большим успехом разъяснил неясный пункт Закона об охоте.

Почти таким же уважением и авторитетом пользуется среди нас другой холостяк, судейский из Иннер-Темпла<sup>5</sup>, наделенный остротою ума, честностью и благородством; поприще свое он избрал не по призванию, но из послушания старому, сварливому отцу, велевшему изучить все наши законы, и теперь превышает своих собратьев знанием законов театра; Аристотель и Лонгин<sup>6</sup> намного понятней ему, чем Литтлтон или Кук<sup>7</sup>. Отец спрашивает его в письмах обо всех брачных, земельных, имущественных делах в округе; а он, прежде чем разобратся и ответить, совещается с коллегой, ибо ему свойственно скорее изучать самые страсти, чем разбираться в порожденных ими спорах. Он знает каждый довод Демосфена и Цицерона, но не в силах запомнить ни единого дела, разбиравшегося в наших судах. Никто не заподозрит его в глупости, однако лишь близким друзьям ведомо, сколь он умен. Особенности эти придают ему и некую отрешенность, и немалую привлекательность; в мыслях своих он далек от судебных дел и потому превосходно ведет беседу. Литературные его вкусы немного строги для наших времен; читал он все, одобрил немногое. Он так хорошо знает обычаи, нравы, деяния и писания древних, что с особою тонкостью судит о нынешних событиях. Кроме того, он отменный знаток театра, и час его истинного труда наступает с началом представления; ровно в пять он проходит через Нью-Инн, пересекает Рассел-корт и заглядывает к Уиллу; башмаки его начищены, парик напудрен в цирюльне, что у таверны «Роза»<sup>8</sup>, а пребывание его в зале благотворно для зрителей, ибо артисты всячески стремятся ему уго-

дить. Следующим по достоинству идет сэр Эндрью Торгмен, влиятельнейший из коммерсантов лондонского Сити, неустанный в делах, сильный разумом и немало повидавший. Представления его о торговле исполнены благородства, и (поскольку богатый человек всегда склонен к шутливости, которая вызывала бы меньший отклик, будь он беднее) он называет море общинным выгоном Англии. Коммерцию он знает до тонкостей и полагает, что глупо и грубо завоевывать чужие земли, ибо истинную власть даруют лишь трудолюбие и ремесла. В

споре он нередко утверждает, что, торгуя одними товарами, мы получили бы прибыль в одной стране, торгуя другими — в другой, и нередко доказывает (это я слышал сам), что обретенное усердием держится крепче, чем обретенное отвагой, леность же погубила больше народов, чем война. Речь его изобилует мудрыми поговорками, и чаще всего он повторяет: «Что сберег, то заработал». Здравомыслящий торговец приятней в общении, чем ученый; а поскольку сэр Эндрью наделен от природы достойным красноречием, лишенным пустого блеска, простота его бесед доставляет такое же наслаждение, какого не доставит иная острога ума. Состояние он нажил собственными силами и непрестанно утверждает, что Англия могла бы превзойти богатством другие страны, если бы применила методы, благодаря которым сам он стал богаче других людей; я же полагаю, что нет океана или моря, где бы не плавали его суда.

Рядом с сэром Эндрью сидит в нашем клубе капитан Чэсти, человек великой отваги, светлого ума и неистребимой скромности. Он — один из тех, кто, будучи лучше многих, не умеет выказать своих дарований так, чтобы их заметили. Несколько лет он служил, сражался, отличившись особым мужеством в походах и в осадах; но поскольку у него было небольшое поместье, а также надежда наследовать титул после сэра Роджера, он покинул стезю, на которой едва ли воздадут по заслугам, если к доблестям воина не прибавить хоть что-либо из доблестей льстеца. Нередко он сетовал на то, что в деле, где достоинства столь ясно видны, наглость приносит больше пользы, чем скромность. Говорил он это без малейшей горечи, просто и честно признавая, что оставил свет, ибо к нему непригоден; ведь прямота, порядочность и безупречные правила отнюдь не идут на пользу тому, кто должен пробиться сквозь скопище стремящихся к той же цели, а именно — к благосклонности власть имущих. Однако наш капитан не склонен судить генералов за то, что они не могут и даже не тщатся ценить людей по достоинству, ибо, согласно его словам, высокий чин, вознамерившийся ему помочь, должен был бы преодолеть такие же самые препятствия, какие не смог преодолеть он сам; и потому, заключал он, всякий, желающий выделиться, особенно на воинском поприще, обязан поступиться скромностью и угождать стоящим выше, отшвыривая прочих наглецов, дабы отстоять себя. Поистине, говорит он, тот, кто неспособен пробиться, столь же малодушен, как тот, кто не решится идти в атаку, презрев воинский долг. Вот с какой незлоби-

вой простотою рассуждает друг наш капитан и о себе, и о других; такую же открытостью дышат все его речи. За годы сражений он перевидал немало, и рассказы его занимательны, ибо он не обрел и малейшей властности, хотя распоряжался людьми, стоящими неизмеримо ниже его, не обрел и раболепия, хотя привык подчиняться тем, кто стоит много выше.

Не следует думать, однако, что клуб наш — сборище причудников, коим чужды нравы и услады нашего века; ведь среди нас — блистательный м-р Уллей, джентльмен, чьи годы могли бы свидетельствовать о закате жизни, но неустанные заботы о себе и благосклонность судьбы помешали времени отметить своею печатью и лоб его, и самый разум. Он хорошо сложен, довольно высок и чрезвычайно искусен в той беседе, какою мужчины пленяют женщин. Когда с ним беседуют, он улыбается и отвечает смехом на шутку. Одевался он всегда превосходно и помнит все прихоти моды так же прочно, как иные помнят встреченных ими людей. Поистине, он — историк модных поветрий, ибо всегда скажет, от какой из блудниц, приближенных к французскому королю, переняли наши жены и дочери покрой капюшона или форму локонов, кто именно скрыл свою худобу кринолином и чье тщеславие укоротило юбку, дабы являть прелесть ножки. Словом, и познания его, и речи связаны с прекрасным полом. Мужчины его лет скажут вам, как выразился тот или иной министр по тому или иному поводу; он же поведаст, от какой из дам отвернулся герцог Монмутский на таком-то балу и кого означенный герцог взял с собою на прогулку. Во всех этих знаменательных событиях принимал участие и он сам, и прославленная красавица, чей сын носит теперь такой-то титул, кинула на него взгляд или ударила его веером. Если вы упомянете о том, что молодой член Палаты общин произнес прекрасную речь, он тут же заметит: «Что ж, кровь у него неплохая, он — от самого Тома Мирабелла<sup>9</sup>, это говорила мне его негодница-мать, которая, кстати сказать, помыкала мною, как ни одна женщина». Такие речи весьма оживляют наше благопристойное сообщество; мы редко толкуем о людях, но если уж зайдет беседа, не я один назову нашего друга истинным, достойнейшим джентльменом. Чтобы завершить его описание, скажу, что там, где не замешаны женщины, он человек порядочный и надежный.

Не знаю, следует ли мне причислить к нашему сообществу того, чей черед настал, ибо посещает он нас нечасто, но появление его все-

гда приносит радость. Он — священник, человек большой мудрости, огромной учености, беспорочной жизни и безупречнейшей воспитанности. К несчастью, он весьма слаб, ему не под силу заботы и хлопоты, неотъемлемые от его дела; и потому, среди пастырей, он подобен судейскому, который дает советы, но не выступает в суде. Ясностью ума и чистотою жизни он приобрел не меньше последователей, чем приобретают иные красотой или силою голоса. Он почти никогда не заговаривает первым о том, что занимает его мысли; но все мы немолды, и, пребывая среди нас, он подмечает, склонны ли мы потолковать о горнем, говорит же с тою весомостью, какую наделен человек, не ищущий ничего в сем мире, стремящийся лишь к наивысшему и черпающий надежду из самых своих немощей. Таковы те, с кем я обычно встречаюсь в нашем клубе.

Р.

### Примечания

<sup>1</sup>...То же все шесть или больше софистов кричат в один голос.

Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского

(Ю в е н а л. Сатиры. М. — Л., 1937, с. 59.)

<sup>2</sup> Роджер де Каверли — центральная фигура среди всех семи членов клуба. Разнообразие его портрета искупает подчеркнутую анонимность самого Зрителя, воплощающего здравый смысл и очень редко оживляемого какими-либо характерными чертами (и только в эссе, принадлежащих перу Стила). Разность манеры двух основных авторов журнала сказалась с первых их выступлений. Сначала Аддисон создает отвечающую его характеру и литературной манере маску Зрителя. Затем — во втором эссе — Стил, к тому времени известный комедиограф, дает драматическую разработку остальным персонажам. Дальнейшее развитие характеров под пером Аддисона не всегда совпадает с этим первоначальным планом. Расхождения особенно очевидны в отношении сэра Роджера. Многие имена членов клуба значимы. Сэр Роджер — здесь многое говорит уже сам титул, за которым — вполне определенный жизненный тип. В отношении иносказательных имен других персонажей переводчик пошел по пути поиска возможных русских эквивалентов, придавая им английское звучание; купец Торгмен (Freeport), военный — капитан Чэсти (Sentry), дамский угодник Уллей (Honeycomb). Два наиболее редко появляющихся члена клуба обозначены лишь своей социальной принадлежностью и не имеют имен: священник и студент-юрист.

<sup>3</sup> Прадед его изобрел сельский танец... — Танец «Роджер де Каверли» упоминается начиная с середины XVII в.

<sup>4</sup> Живет на Сохо-сквер... — Только что отстроенный в эпоху Реставрации модный район Лондона. О положении сэра Роджера в свете свидетельствуют его ужины с Джоном Уилмотом, графом Рочестером (1648—1680), прославленным поэтом и щеголем, с драматургом Джорджем Этериджем (1634—1691) и поединок с известным шулером Даусоном.

<sup>5</sup> Иннер-Темпл — так же как и упоминаемый ниже Нью-Темпл, одна из четырех юридических школ, дававших право выступать в суде в качестве адвоката.

<sup>6</sup> Лонгин (3 в. до н. э.) — под именем этого древнегреческого ритора становится известным в XVI в. трактат «О возвышенном», приобретший популярность и превратившийся в одно из основных эстетических наставлений, особенно по мере того, как росла любовь к природе, бурной и величественной.

<sup>7</sup> Литтлтон или Кук — написанное в XV в. рассуждение Т. Литтлтона о правах было прокомментировано Э. Куком и появилось впервые в 1628 г., надолго сделавшись одним из основных источников по английскому праву.

<sup>8</sup> Таверна «Роза» — примыкала к Друрилейнскому театру, и при позднейшей перестройке стала частью его здания.

<sup>9</sup> Том Мирабелл — имя героя-любовника в нескольких английских комедиях, в том числе в пользовавшейся большим успехом комедии У. Конгрива «Так поступают в свете» (1700).

### Зритель № 3

Суббота, 3 марта 1711 г.

Quoi quisque fere studio devinctus adhaeret  
Aut quibus in rebus multum sumus ante morati  
Atque in qua ratione fuit contenta magis mens,  
In somnis eadem plerumque videmur obire.

Lucr.<sup>1</sup>

Недавно, прогуливаясь по городу и предаваясь размышлениям, я заглянул в большую залу, принадлежащую банку<sup>2</sup>, и немало порадовался, увидев управляющих, служащих и секретарей вкупе с другими членами сего богатейшего учреждения, каждого — на отведенном ему месте соответственно роли, которую он играет в столь упорядоченном хозяйстве. В памяти моей ожили многочисленные рассуждения, как печатные, так и устные, о том, что кредит страны приходит в упадок, и разноречивые советы о том, как восстановить его в силе, грешащие, на мой взгляд, приверженностью к своекорыстию, а также к выгодам собственной партии.

Дневные мысли заняли мой разум и ночью, и я, сам того не заметив, перенесся в весьма осмысленный сон, обративший все, что я видел, в некую аллегорию, некое видение или что иное, по разумению читателя.

Мне привиделось, что я вернулся в большую залу, где побывал утром, но, к удивлению моему, нашел там не тех, что были прежде: в глубине залы, на золотом троне, восседала прекрасная дева, зовущаяся, как мне сказали, Кредитой. Стены были увешаны не картами и не картинами, но парламентскими актами, начертанными золотом. В конце помещения висела Великая Хартия Вольностей<sup>3</sup>, справа от нее — Акт о единообразии, слева — Акт о веротерпимости. На ближней стене находился Акт о престолонаследии, и дева глядела прямо на него. По бокам я увидел все те акты, которые относились к упорядочению государственных средств. Насколько я понял, украшения эти чрезвычайно нравились властительнице, ибо она то и дело услаждала ими свой взор и порою, взглянув на них, улыбалась с тайной радостью; а если хоть что-либо грозило нанести им вред, впадала в особое беспокойство. Поведение ее отличалось несказанной пугливостью; по слабости здоровья или от особой нервозности (как сообщил позже один ее недоброжелатель) она бледнела и вздрагивала при любом зву-

ке. Впоследствии я подметил, что немощь ее превышала все, что мне доводилось видеть даже среди женщин, а силы убывали с такою быстротою, что она в мгновение ока превращалась из здоровой, цветущей красавицы в истинный скелет. Правда, и прибывали они мгновенно; изничтожающая хворь сменялась той животворной мощью, какою наделены самые здоровые люди.

Мне довелось наблюдать очень скоро эти быстрые перемены. У ног ее сидели два секретаря<sup>4</sup>, получавшие что ни час письма со всех концов света; то один, то другой читали ей сии послания, и сообразно новостям, которые она выслушивала весьма внимательно, дева менялась в лице, выказывая признаки здоровья или же болезни.

Позади трона, от полу до самого потолка, громоздились огромной кучей мешки с деньгами, наваленные друг на друга. И по левую руку от девы, и по правую возвышались огромнейшие горы золота; однако удивление мое угасло, когда я узнал в ответ на свои вопросы, что дева сия наделена тем же даром, каким, по слову стихотворца, обладал в былое время один лидийский царь<sup>5</sup>, а именно — способна обработать в драгоценный металл все что угодно.

Голова моя закружилась, мысли смешались, что нередко бывает во сне, и мне привиделось, что в зале поднялась суматоха, распахнулись двери и вошло с полдюжины мерзейших призраков, какие я только видел и наяву, и в ночных грезах. Шли они по двое, словно бы в танце, но пары нимало не подходили друг другу. Описывать их не стану, боясь утомить читателя; скажу лишь, что в первой паре выступали Тирания и Анархия, во второй — Фанатизм и Неверие, в третьей — дух-хранитель Англии и молодой человек лет двадцати двух<sup>6</sup>, имени чьего я так и не узнал. В правой руке он держал шпагу и взмахивал ею, когда проходил, танцуя, мимо Акта о престолонаследии; а некий джентльмен, стоявший рядом со мной, шепнул мне, что в левой его руке заметил губку, какою стирают буквы с доски. Лишенный согласия танец напомнил мне, как в бэкинговом бурлеске<sup>7</sup> пляшут Луна, и Земля, и Солнце, всячески стараясь затмить друг друга.

Припомнив, о чем говорилось выше, читатель легко догадается, что дева на троне испугалась бы до полусмерти, узрев хотя бы один призрак; каково же ей было, когда она увидела всех разом? Она потеряла сознание и немедля испустила дух.

*Et neque jam color est misto candore rubori,  
Nee vigor, et vires, et quae modo visa placebant,*

*Nee corpus remanet*<sup>8</sup>.

Переменились и груды мешков с деньгами, и кучи золота, причем мешки осели, лишившись содержимого, так что деньги находились теперь не более чем в десятой их части. Прочие мешки — пустые, хотя с виду подобные полным, — унесло ветром, отчего я припомнил те надутые воздухом мехи, которые, по слову Гомера, герой его получил в подарок от Эола<sup>9</sup>. Кучи золота по сторонам трона обратились в кипы бумажек<sup>10</sup> или связки палочек с зарубками, подобные вязанкам хвороста.

Пока я сокрушался о том, как все разорилось на моих глазах, прежняя сцена исчезла. Вместо жутких призраков в залу, изящно танцующая, вошли иные, дружные пары, весьма приятные собой. В первой паре были Свобода об руку с Монархией; во второй — Терпимость и Вера; в третьей — дух-хранитель Британии с кем-то, кого я никогда не видел. С появлением их дева ожила, мешки округлились, хворост и бумажки сменились кипами гиней. Я же от радости проснулся, хотя, признаюсь, охотно бы заснул снова, если, бы только мог, дабы досмотреть сновидение.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Если же кто-нибудь занят каким-либо делом прилежно, Илья отдавался мы чему-нибудь долгое время, И увлекало наш ум постоянно занятие это, То и во сне представляется нам, что мы делаем то же.

Пер. Ф. А. Петровского

(Лукреций. О природе вещей. М., 1945, с. 263.)

<sup>2</sup> ...принадлежащую банку... — Имеется в виду Английский банк.

<sup>3</sup> Великая Хартия вольностей — документ, который мятежные бароны получили от Иоанна Безземельного в 1215 г. в подтверждение своих свобод; им учрежден парламент, и от него ведут начало английской конституции.

<sup>4</sup> ...сидели два секретаря... — В правительстве с 1660 г. существовало две должности государственного секретаря, первоначально для того, чтобы один ведал отношениями с северными (протестантскими), а другой — южными (католическими) странами. Однако к этому моменту — к 1712 г. — их функции несколько изменились: Генри Сен-Джон (будущий виконт Болингброк) занимался внешними, а Уильям Лег, граф Дартмут, — внутренними делами.

<sup>5</sup> ...один лидийский царь... — Мидас (греч. миф.); согласно одной из версий мифа, просил у богов и получил в дар способность своим прикосновением все превращать в золото.

<sup>6</sup>...молодой человек лет двадцати двух... — Джеймс Стюарт, претендент на английский престол из отлучённой от власти в результате революции династии Стюартов.

<sup>7</sup>...как в букингемовом бурлеске... — «Репетиция» (1672), пародийный фарс на жанр героической трагедии, очень популярный и приписываемый Джорджу Вильерсу, герцогу Бекингему, но, вероятно, плод соавторства нескольких лиц.

<sup>8</sup>Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца,  
Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало, пленяло,  
Тела не стало его.

Пер. С. Шервинского

(Овидий. *Метаморфозы*. М., 1977, с. 94.)

<sup>9</sup>Эол (греч. миф.) — бог ветров; в «Одиссее» (песнь X) он вручает прибывшему на его остров герою мешок с заключенными в нем бурными ветрами, дабы они не препятствовали его плаванью. Мешок был развязан спутниками Одиссея, которые думали, что в нем находятся сокровища.

<sup>10</sup>Кучи золота по сторонам трона обратились в кипы бумажек... — Аддисон иносказательно рисует картину неизбежного разорения тех, кто является вкладчиками Английского банка и держателями его акций, ибо в случае воцарения Претендента национальный долг, возникший и растущий из-за расходов в войнах с Францией, разумеется, был бы аннулирован, — угроза, страшившая многих вигов, чьим детищем был банк.

## Зритель № 10

Понедельник, 12 марта 1711 г.

Non aliter quam qui adverso ut flumine lembum  
Remigiis subigit: si brachia forte remisit,  
Atque illum praeceps prono rapit alveus amni.  
Virg.<sup>1</sup>

Я очень радуюсь, когда слышу, что славный наш город день ото дня ждет моих листков и принимает утренние поучения с должным вниманием и серьезностью. Издатель говорит, что в день уже расходуется три тысячи; так что, если мы положим по двадцать читателей на каждый (что еще весьма скромно), я вправе счесть своими учениками не менее шестидесяти тысяч человек в Лондоне и Вестминстере, надеясь, что они сумеют отмежеваться от бессмысленной толпы своих любопытных и невежественных собратьев. Обретя такое множество читателей, я не пожалею сил, чтобы назидание стало приятным, а развлечение — полезным. Посему я постараюсь оживлять нравоучение острою слога и умерять остроту эту нравственностью, чтобы читатели мои, насколько это возможно, получали пользу и от того, и от другого. А дабы добродетель их и здравомыслие не были скоротечны, я решил напоминать им все должное снова и снова, пока не извлеку их из того прискорбного состояния, в какое впал наш безрассудный, развращенный век. Разум, остающийся невозделанным хотя бы один день, порастает безрассудством, которое можно уничтожить лишь непрерывным, прилежным трудом, подобным труду земледельца. Говорили, что Сократ низвел философию с неба на землю, к людям; а я бы хотел, чтобы обо мне сказали, что я вывел ее из кабинетов и библиотек, из университетов и училищ в клубы и собрания, в кофейни и за чайные столы.

По этой причине я особо рекомендую мои размышления всем добропорядочным семьям, которые могут хотя бы час посидеть за утренним чаем; и со всюю серьезностью посоветовал бы им, для их же блага, распорядиться так, чтобы листок доставляли без проволочек и чтобы он стал неотъемлемой частью чаепития.

Сэр Фрэнсис Бэкон заметил, что хорошая книга соотносится со своими соперниками, как змей Моисеев<sup>2</sup> с поглощенными им жезлами египетскими. Я не столь тщеславен, чтобы полагать, что там, где появится «Зритель», исчезнут все прочие издания; но предоставлю чита-

телю решить, не лучше ли познавать самого себя, чем узнавать, что происходит в Московии или в Польше; не полезней ли сочинения, стремящиеся развеять невежество, страсти и предрассудки, чем те, что разжигают злобу и препятствуют примирению.

Далее, я посоветовал бы каждый день читать сей листок тем, кого считаю своими союзниками и собратьями, то бишь досужим зрителям, живущим в мире, но от него отрешенным и, по милости ли богатства или по природной лености, взирающим на прочих людей лишь как сторонние наблюдатели. В это братство я включу склонных к размышлению коммерсантов; врачей, избегающих практики; судейских, избегающих тяжбы; членов Королевского общества<sup>3</sup>; государственных мужей на покое — словом, всех, кто считает мир театром и тщится правильно понять актеров.

Обращусь я и к иной породе людей— к тем, кого я недавно уподобил пустому месту, ибо у них нет никаких мнений, пока деловая жизнь или повседневная болтовня не подбросят им какую-либо мысль. Нередко испытывал я превеликую жалость к несчастным, слыша, как они спрашивают первого встречного, нет ли новостей, и собирают таким манером то, о чем намерены думать. Сии обделенные люди не знают, что говорить до самого полудня, но с этого часа могут отменно судить и о погоде, и о том, куда дует ветер, и о том, наконец, прибыла ли почта из-за моря. Поскольку они отдаются на милость первых встречных и злятся или печалются до ночи в зависимости от новостей, впитанных поутру, я посоветую им со всею серьезностью не выходить из дому, пока они не прочитают моего листка, и обещаю всякий день внушать им на полсуток здравые мнения и добрые чувства, которые превосходно скажутся на их беседах.

Однако полезнее всего мой листок для прекрасного пола. Я часто думал о том, как мало стараемся мы подыскать ему пристойные развлечения и должные занятия. Забавы, отведенные им, измышлены словно бы лишь для женщин, но не для разумных существ; приноровлены к даме, но не к человеку. Поприще их — наряды, главное занятие — прическа. Подбирая все утро ленты, они полагают, что заняты, если же выйдут купить безделушек или шелку, целый день потом отдыхают и ничего не могут делать. Шитье и вышивание — самый тяжкий их труд, изготовление сластей — изнуряющая работа. Так живет обычная женщина, хотя, как я доподлинно знаю, многим ведомы радости высоких мыслей и умной беседы; многие обитают в дивном

краю добродетели и знаний, дополняют красотой души красоту наряда и внушают взирающим на них мужчинам не только любовь, но и почтение. Надеюсь, листок мой умножит число таких женщин, и постараюсь дать моим прекрасным читательницам если не душеполезное, то хотя бы невинное занятие, отвлекающее от суетных пустяков. В то же время, стремясь придать совершенство тем, кого и так можно назвать славою рода человеческого, я стану указывать недостатки, пятнающие женщин, равно как и достоинства, их украшающие. Надеюсь, прелестные мои ученицы, наделенные великим избытком времени, не посетуют на то, что сей листок отнимет у них четверть часа без ущерба для прочих занятий.

Я знаю, что друзья мои и доброжелатели беспокоятся обо мне, опасаясь, что я не смогу поддерживать на должном уровне живую остроту ума в листке, который обязался выпускать ежедневно; дабы их успокоить, обещаю, что оставлю это предприятие, как только начну писать скучно. Конечно, это станет превосходной мишенью для остроумцев низкого пошиба, ибо мне будут нередко напоминать о моем обещании, просить, чтобы я сдержал слово, заверять, что пора давно пришла, и прочее, в том самом духе, какой любезен недалеким остроумцам, когда лучший друг дает им столь прекрасный повод. Но пусть они помнят, что этими словами я предвещаю и отменяю будущие насмешки.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Точно гребец, что насилу челнок свой против течения  
Правит, но ежели вдруг его руки нежданно ослабнут,  
Он стремительно вспять увлекаем встречным теченьем.  
Пер. С. Шервинского

(Вергилий. Георгики. Буколики. Энеида. М., 1971, с. 70.)

<sup>2</sup>...как змей Моисеев с поглощенными им жезлами египетскими... — Либо Фрэнсис Бэкон, либо ссылающийся на него Аддисон ошиблись, ибо в Библии (Книга Исхода, VII, 12) говорится о том, что жезл Аарона, а не его младшего брата Моисея обернулся змеем, проглотившим змей египетских.

<sup>3</sup> Королевское общество — полное название: Королевское общество в Лондоне для дальнейшего распространения естественных знаний; оно было окончательно утверждено королевскими постановлениями в 1662—1663 гг.

## Зритель № 15

Суббота, 17 марта 1711 г.

Parva leves capiunt animos.  
Ovid.<sup>1</sup>

Когда я был во Франции, я в изумлении взирал на блистательные экипажи и многоцветные наряды сей удивительной страны. Однажды я с особенным вниманием созерцал даму в карете, изукрашенной золочеными амурами и к тому же искусно расписанной забавными изображениями Венеры и Адониса; запряжена карета была шестеркой белых коней, на запятках стояли шесть лакеев в пудренных париках, а прямо перед дамой разместились два паж, красотой своею, радостью улыбок и нарядной одеждой походившие на старших братьев тех, кто резвился в росписи и резьбе по всем уголкам экипажа.

Дама сия оказалась злосчастной Клеантой, о которой была написана позднее печальная повесть. Несколько лет она пользовалась расположением одного лица, но оставила столь долгую сердечную приятельницу ради блистательной кареты, подаренной ей весьма богатым, хотя и немощным вельможей. Роскошь, которую я видел, лишь прикрывала разбитое сердце, тщила утай беду; ибо двумя месяцами позже несчастную даму отвезли на кладбище с такой же блистательной роскошью, убили же ее и утрата одного возлюбленного, и союз с другим.

Часто размышлял я о странности женского нрава, столь неустойчивого перед суетным, ложным блеском, и о неисчислимых бедах, проистекающих из сей легкомысленной склонности. Помню молодую особу, за которой ухаживали два пылких поклонника, несколько месяцев кряду старавшихся превзойти друг друга изяществом деяний и приятностью беседы. Наконец, когда соперничество зашло в тупик и дама никак не могла сделать выбор, одному из кавалеров пришла счастливая мысль: он добавил к своему камзолу кружев и через неделю женился на избраннице.

Простой разговор обычных женщин весьма способствует естественной слабости, побуждающей пленяться пустой видимостью. Заведите речь о чете молодоженов, и вы тут же узнаете, есть ли у них карета шестерней и серебряный сервиз; упомяните отсутствующую даму, и в девяти случаях из десяти вам сообщат что-нибудь о ее нарядах. Бал дает немалую пищу болтовне, день рождения обеспечивает целый год предметами для толков. Все говорят о том, было ли отделано такое-то

платье драгоценными камнями, такая-то шляпа приколата булавкой с бриллиантом, такой-то жилет или такая-то юбка сшиты из парчи. Словом, подмечают лишь одеяния людей, не удостаивая и мысли ту прелесть ума, которая придает очарование человеку и приносит пользу всем прочим. Когда женщины непрестанно стремятся поразить воображение друг друга и в голове их одни лишь пестрые наряды, удивительно ли, что суета и поверхность жизни любезнее им, чем ее несомненные, существенные блага. Девица, воспитанная среди таких разговоров, беззащитна перед любым расшитым камзолом, встретившимся ей на пути; ее может погубить пара перчаток с бахромою. Ленты и кружева, золотой и серебряный галун и прочая мишура влекут и пленяют женщин, некрепких разумом или не получивших должного воспитания, и при умелости способны сразить самую надменную, своенравную ветреницу.

Истинному счастью любезно уединение, ему претят блеск и суета, а порождают его, во-первых, удовлетворенность собою, во-вторых — общество и беседа избранных друзей. Оно любит тень и одиночество, естественно тяготея к гротам и родникам, лугам и полянам; словом, оно несет в себе все, что ему нужно, и не нуждается в многочисленных свидетелях. Ложное же счастье, напротив, предпочитает толпу, стремясь привлечь к себе внимание света. Собственного одобрения ему недостаточно, но необходимо восхищение прочих, и потому процветает оно при дворе, во дворцах и в театрах, на балах и ассамблеях и мгновенно исчезает, если его не заметят.

Аврелия, женщина весьма родовитая, находит усладу в сельском уединении и проводит немало времени, гуляя в саду или в поле. Муж ее, ближайший ей друг, разделяющий с ней одиночество, сохраняет влюбленность, возникшую с первой же встречи. Оба они наделены в преизбытке здравомыслием, добродетелью, взаимным уважением и непрестанно радуют друг друга. Жизнь их столь упорядочена, молитва, трапеза, труд и развлечения чередуются столь разумно, что семья эта кажется маленьким государством. Супруги часто бывают в гостях, но тем приятнее им вернуться к уединению вдвоем; бывают и в Лондоне, где скорей устают, чем наслаждаются, так что с тем большим облегчением обращаются вновь к сельской жизни. Благодаря всему этому они счастливы друг другом, дети любят их, слуги — почитают, и все, кто с ними знаком, завидуют им, а вернее — любят их ими.

Сколь отлична от этого жизнь Фульвии! Мужем она помыкает, как слугою, рассудительность же и рачительное домоводство считает

мелкими, скучными и недостойными знатной дамы. Время, проведенное с семьей, она полагает потерянным впустую и видит себя удаленной от мира, если не пребывает в театре, в парке или в гостиной. Тело ее вечно в движении, мысли — в смятении, и ей не сидится нигде, поскольку, на ее взгляд, там, где ее сейчас нет, многолюднее и веселее. Пропустить премьеру в опере тяжелей для нее, чем потерять ребенка. Ей жалки все достойные представительницы ее пола, а женщину скромной, здоровой, уединенной жизни она именует неотесанной и глупой. Как бы страдала она, если б узнала, что, стараясь быть заметной, выставляет себя на позор и, пытаясь привлечь людей, вызывает лишь презрение.

Не могу завершить сие письмо, не напомнив, что Вергилий с большою тонкостью коснулся женской страсти к нарядам и суете, описывая Камиллу. Казалось бы, она отвергла все слабости своего пола, но в этой осталась ему верна. Поэт поведал нам, что, доблестно поражая врага, она, к несчастью, увидела троянца в расшитой тунике<sup>2</sup>, красивой кольчуге и прекраснейшем пурпурном плаще. На плече его, по слову поэта, висел золотой лук, плащ скрепляла золотая пряжка, голову украшал сверкающий шлем из того же металла. Амазонка немедля выделила из всех столь блистательного воина, повинувшись истинно женской тяге к изящной мишуре:

Totumque incauta per agmen  
Foemineo praedae  
et spoliorum avolebat amore<sup>3</sup>

Искусно скрывая прямое назидание, поэт показывает нам, как бездумное пристрастие к пустякам погубило его героиню.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Мелочь милее всего.

Пер. М. Гаспарова

(Овидий. Элегии и малые поэмы. М., 1973, с. 151.)

<sup>2</sup> ...увидела троянца в расшитой тунике... — У Вергилия в «Энеиде» (XI, 782) причиной гибели Камиллы стало то, что «Женскую жадность разжег в ней убор драгоценный Хлорея» (пер. С. Шервинского).

<sup>3</sup> В гущу врагов вслепую летит, забыв о осторожности:

Женскую жадность разжег в ней убор драгоценный. —

Пер. С. Ошерова

(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 343.).

## Зритель № 21

Суббота, 24 марта 1711 г.

... Locus est et pluribus umbris.

Ног<sup>1</sup>

Нередко я прихожу в большое смущение, размышляя о трех славнейших поприщах — священника, судейского и врача, и думаю о том, сколь много их на свете; так много, что достойные люди отбивают друг у друга хлеб.

Духовенство мы вправе подразделить на генералов, высших офицеров и низших. К первым относятся епископы, деканы и управители делами епархий. Среди вторых — доктора богословия, каноники и все, кто носит епитрахиль. Прочие — низшие чины. Что до первого ранга, законы наши сурово охраняют его от преизбытка, хотя пытающимся туда проникнуть несть числа. Строгие подсчеты показывают, что за последние годы число высших офицеров непозволительно увеличилось, ибо многим удалось достигнуть этого ранга, обойдя прочих; и сам я хорошо помню, как шелк поднялся в цене на два пенса за ярд. Офицеров низших сосчитать невозможно. Если бы духовенство наше, переняв порочный обычай мирян, стало меж собою делить землю, оно смогло бы победить на любых выборах.

Среди судейских тоже немало лишних; они подобны войску у Вергилия<sup>2</sup>, которое, по его словам, было столь многочисленно, что воин не мог поднять руку с мечом. Это славное сообщество можно подразделить на сутяг и миролюбцев. Под первыми я разумею всех, кого во время сессий целыми каретами возят в Вестминстер-холл к назначенному часу. Марциал<sup>3</sup> с немалым остроумием описал этот род судейских:

..Iras et verba locant<sup>4</sup>.

Это люди, дающие на прокат гнев свой и речи; соизмеряющие пыл с платой и праведно негодующие в той мере, в какой не покусился клиент. Замечу, однако, что среди тех, кого я назвал сутягами, многие гневливы лишь в сердце своем, ибо у них нет возможности проявить свою ярость в суде. Однако, не ведая, как пойдет дело, в суд они ходят ежедневно, являя свою готовность выступить, если им представится случай.

Миролюбцами прежде всего бывают старейшины судейских корпораций, как бы сановники закона, наделенные свойствами, более

приличествующими правителю, чем блюстителю правовых интересов. Они живут тихо, едят один раз в день и танцуют раз в год<sup>5</sup>, дабы почитать свою корпорацию.

Другой разряд миролюбцев образуют молодые люди, намеревавшиеся изучать законы Англии, но предпочитающие театр Вестминстер-холлу<sup>6</sup>, веселые сборища — суду. Не скажу ничего о полчищах молчаливых, прилежных существ, множащих в тиши количество различных бумаг, а также о тех, несравненно более обычных, кто лишь притворяется, что этим занят, дабы сокрыть отсутствие каких бы то ни было дел.

Ежели мы обратим теперь взоры на врачей, то убедимся, что они расплодилось в поистине ужасающем количестве. Один их вид способен лишить нас всякого веселья, ибо мы вправе принять непреложный закон: чем больше в стране врачей, тем меньше народу. Сэр Уильям Темпл<sup>7</sup> не может понять, почему из краев, которые он именуется северным ульем, не вылетает более огромный рой, наводнивший некогда мир готами и вандалами<sup>8</sup>; но если бы наш досточтимый автор вспомнил, что почитатели Тора и Вотана не учились медицине, а сейчас в северных странах занятие это процветает, он нашел бы ответ, превосходящий все его догадки. У нас же в Англии врачей можно уподобить британской армии времен Цезаря: одни убивают, двигаясь в колеснице, другие — на пешем ходу. Пехотинцы приносят меньше вреда, чем обладатели карет, лишь потому, что им труднее быстро добраться до всех уголков города и сделать так много за столь короткий срок. Кроме регулярных войск, имеются и одиночки, которые, не числясь в списках, приносят тысячи бед тем, кто на свою беду попал к ним в руки.

Существует к тому же великое множество прислужников медицины; за неимением других пациентов, они развлекаются тем, что выкачивают воздух из-под колпака, куда посадили кошку, режут заживо собак или накалывают насекомых на булавки, дабы изучать их под микроскопом. Прибавим к ним тех, кто собирает травы и ловит бабочек, не говоря уж об охотниках за пауками и собирателях ракушек.

Когда я подумаю, что тысячи ищут пропитания на всех этих поприщах, а достойных, то есть таких, кто любит самое дело, много меньше, я тщусь понять, почему родители не изберут для своих детей приличное и прибыльное занятие вместо житейских путей, где можно потерпеть неудачу при самой великой честности, учености и разумно-

сти. Сколько сельских священников могли бы заседать в лондонском муниципалитете, если бы отцы их правильно распорядились суммой, намного меньшей, чем та, какую они потратили на учение? Бережливый, умеренный человек, не наделенный острым умом и особыми способностями, мог бы безбедно жить торговцем, тогда как он голодает, будучи врачом; ибо многие охотно покупали бы шелк у того, кому не доверят пощупать свой пульс. Вагелий прилежен, любезен, обязателен, но несколько туповат; пациентов у него нет, покупателей было бы много. Беда в том, что родители, облюбовав какое-либо поприще, стремятся приохотить к нему своих отпрысков, но, когда речь идет о деле всей жизни, следует исходить не из собственных пристрастий, а из того, насколько умны и к чему способны дети.

Страна, прославленная торговлей, тем и хороша, что надо быть на редкость тупым и ленивым, чтобы не найти себе места, дающего возможность преуспеть. В торговле, хорошо налаженной, не может быть того преизбытка людей, как в церкви, суде или медицине; напротив, чем их больше, тем лучше, всем найдется дело. Флотилии судов, плавучих лавок бороздят моря, продавая наши изделия и товары на всех рынках света и находя покупателей под обоими тропиками.

К.

## Примечания

<sup>1</sup>...И для других незваных есть место.

Пер. Н. Гинцбурга (Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 332.)

<sup>2</sup>...они подобны войску у Вергилия... — Описание битвы в «Энеиде» (X, 432—433): «...уплотняется строй, невозможно// Руку в толпе занести» (пер. С. Шервинского).

<sup>3</sup>Марциал... — Аддисон ошибся: приведенные слова принадлежат Сенеке.

<sup>4</sup>...Подделанный гнев

И наемную речь.

Пер. С. Ошерова

(Сенека. Трагедии. М., 1983, с. 120.)

<sup>5</sup>...и танцуют раз в год... — В День всех святых, отмечаемый 1 ноября праздник, сохранивший черты древнего карнавала.

<sup>6</sup>Вестминстер-холл — огромный зал, самая древняя часть старого Вестминстерского дворца, где происходили судебные заседания.

<sup>7</sup>Уильям Темпл (1628—1699) — политик, знаток и любитель античности; в 90-х годах он, приняв подделку за подлинный античный текст, дал повод для

начала в Англии дискуссии о сравнительных достоинствах древних и новых авторов, в ходе которой возник памфлет Свифта (бывшего в то время секретарем Темпла) — «Битва книг». Аддисон ссылается на эссе Темпла «О доблести».

<sup>8</sup> Готы и вандалы — древнегерманские племенные союзы, в первые века нашей эры хлынувшие с севера Европы на юг и сокрушившие Рим. Верховное божество германского пантеона — Один (Вотан); наряду с ним один из самых могущественных богов — Тор.

## Зритель № 26

Пятница, 30 марта 1711 г.

Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas  
regumque turres. O beate Sesti,  
Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam;  
iam te premet nox f abulaeque Manes  
et domus exilis Plutonia...  
Hor.<sup>1</sup>

Когда я в серьезном духе, я часто гуляю один по Вестминстерскому аббатству<sup>2</sup>; мрачность его, назначение, величие самой постройки и слава тех, кто лежит там, способны навевать некую печаль или, вернее, не лишённую приятности задумчивость. Вчера я провел целый день на кладбище, в галереях и в соборе, развлекаясь чтением могильных надписей, которые встретились, мне в этом царстве мертвых. Большая их часть сообщала лишь о том, что покойный родился в такой-то день, а в такой-то умер; вся жизнь его сводилась в двум фактам, общим для всех людей. Поневоле видел я в этих регистрах бытия, медных или мраморных, насмешку над ушедшими, вся память о которых сводилась к тому, что они родились и скончались; и на ум мне пришли участники сражений из героической поэмы, наделенные звучными именами лишь потому, что их могут убить, и прославленные лишь тем, что их и впрямь убили.

Glaucumque, Medontaque, Thersilochumque<sup>3</sup>.

Жизнь таких людей Писание удачно сравнивает с путем стрелы, который мгновенно исчезает.

Войдя в собор, я с любопытством наблюдал труд могильщиков и всякий раз, как лопата наполнялась, видел кусок кости или черепа, смешанный со свежей землей и глиной, которая некогда послужила созданию тела человеческого. При зрелище этом я стал размышлять о том, какое несметное множество народу лежит вперемешку под плитами древнего храма; о том, что мужчины и женщины, друзья и недруги, пастыри и воины, монахи и каноники поистине смешаны здесь, образуя единое вещество; о том, наконец, что в одном и том же неразличимом месиве красоту, силу, молодость не отличишь от старости, слабости, уродства.

Окинув взглядом обширный град мертвых, я принялся изучать его более подробно по надписям, какие нашел на памятниках, которые

есть далеко не в каждом уголке сего древнего здания. Некоторые эпитафии были столь замысловаты и преувеличены, что, ознакомься с ними покойный, его бы смутили похвалы, расточаемые друзьями; другие столь исключительно скромны, что сообщают об умершем погречески или по-древнееврейски, и разобрать их может разве что один человек за год. Там, где покоятся поэты, я обнаружил, что у некоторых из них нет памятников, под некоторыми же памятниками нет поэтов. Заметил я также и то, что нынешняя война наполнила храм монументами, воздвигнутыми в память погибших, чьи тела покоятся не здесь, а в земле Бленхейма или в лоне моря.

Весьма порадовали меня новые надписи, исполненные изящества слова и точности мысли и тем самым оказывающие честь не только мертвым, но и живым. Поскольку чужеземцы скоры судить о разуме и благородстве страны по ее монументам и эпитафиям, надписи эти и памятники следовало бы показать внимательным, умным и ученым людям прежде, чем представить на общее рассмотрение. Меня неприятно поражает памятник сэру Клодсли Шовелу<sup>4</sup>, ибо вместо сурового, смелого человека, каким был этот отважный, великодушный адмирал, мы видим щеголя в длинном парике, на бархатных подушках, под пышным балдахинном. Не лучше памятника и надпись, знакомящая нас не со славными подвигами, которые он совершил, служа своей стране, но лишь с обстоятельствами смерти, не приносящими ему никакой славы. Голландцы, которых мы рады презрительно назвать недалекими, выказывают в зданиях и монументах несравненно более вкуса и понимания древности, чем наша страна. Их адмиралы, чьи памятники воздвигнуты на общественный счет, похожи на самих себя, орнамент же и украшения связаны с морем, ибо это — ростры или красивые гирлянды из раковин, кораллов и водорослей.

Однако вернемся к нашему предмету. Место упокоения королей я оставил на другой день, когда буду склонен к столь серьезному созерцанию. Я знаю, что такие занятия легко порождают горестные мысли в некрепком разуме или мрачном воображении; однако сам я, хотя и склонен к серьезности, не ведаю меланхолии и потому способен наслаждаться природой не только в прелестных и веселых, но и в глубоких, величественных ее проявлениях. Душе моей идут на пользу предметы, которые другим внушают лишь ужас. Когда я смотрю на могилы великих людей, малейший завистливый помысел гаснет во мне; когда читаю эпитафию красавице, недолжное желанье исчезает;

когда могильный камень являет мне печаль семьи, сердце мое истает от жалости; когда гляжу на могилы родителей, я понимаю, как нелепо сокрушаться о тех, за кем мы вскоре последуем; когда вижу королей, лежащих рядом с теми, кто низверг их, соперников, покоящихся бок о бок, или князей церкви, разделявших мир своими несогласиями, я думаю с печалью и удивлением о жалких человеческих расправах, соревнованиях и спорах. Когда я читаю, что один умер вчера, другой — шесть столетий тому назад, я предвкушаю день, в который все мы станем современниками и все явимся вместе.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Бледная ломится смерть одною и той же ногою

В лачуги бедных и царей чертоги.

Сестий счастливый! Дана недолгая в жизни нам надежда —

А там охватит ночь и царство теней.

Там и Плутона жильё унылое...

Пер. А. Семенова-Тян-Шанского

(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 49.)

<sup>2</sup> Вестминстерское аббатство — место захоронения великих людей Англии.

<sup>3</sup> И Медонт, и Главк с Терсилохом.

Пер. С. Ошерова

(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 231.)

<sup>4</sup> Шовел, сэр Клодсли (ок. 1650—1707) — адмирал, утонул в Средиземном море после того, как его корабль наскочил на подводную скалу; его тело было первоначально захоронено в прибрежном песке, но, опознанное по кольцу, снятому с него рыбаком, перевезено в Англию.

## Зритель № 34

Понедельник, 9 апреля 1711 г.

...parcit  
Cognatis maculis similis fera.  
Juv.<sup>1</sup>

Члены клуба нашего, по счастью, избрали самые разные поприща, и посему я обеспечен многообразными материалами, зная все обо всем, что происходит не только в каждом уголке Лондона, но и в каждом уголке Англии. Читатель, к удовольствию своему, тоже успел узнать, что в клубе представлены едва ли не все занятия и звания, и среди присутствующих всегда найдется тот, кто позаботится, чтобы в печати или в рукописи не оскорбили и не затронули его законных привилегий и прав.

Вчера я засиделся допоздна в кругу избранных друзей, развлекавших меня замечаниями, своими или чужими, о мыслях моих и выкладках и рассказами о том, как приняли их читатели различных рангов и сословий. Уилл Уллей сообщил мне как можно мягче, что некоторые дамы («К утешению вашему, — сказал он, — далеко не самые умные») обиделись на то, что я толкую о таких пустяках, как опера и кукольный театр<sup>2</sup>, а многие удивлены, что я считаю возможным потешаться над столь серьезными вещами, как наряды и кареты знатных особ.

Он еще не кончил, когда сэр Эндрью Торгмен оборвал его, заметив, что листки, на которые он намекает, принесли немало блага, ибо оказали доброе влияние на супруг и дочерей лондонских коммерсантов, а после прибавил, что Сити весьма признателен мне, поскольку я искренне стремлюсь бичевать порок и безумство, овладевающие людьми, но не опускаюсь до сплетен о кознях и супружеских изменах. «Словом, — сказал сэр Эндрью, — если вы не пойдете по торной тропе, глупо высмеивая добрых горожан и достойных олдерменов, а используете свой дар для обличения салонной роскоши и суеты, листок ваш будет нарасхват».

Тут другой мой приятель, судейский, выразил удивление, что столь разумный человек, как сэр Эндрью, рассуждает подобным образом; деловые люди и торговцы, сказал он, всегда были мишенью для сатиры, а при короле Карле II острословы только над ними и смеялись. Затем, на примерах из Горация, Ювенала, Буало и лучших писа-

телей каждого века, он показал, что безумства театра и двора никогда не почитались слишком священными для насмешки, какие бы знатнейшие особы ни покровительствовали им. «Но все же, — заметил он, — шутки ваши зашли далее, чем следует, ибо вы затронули и суд; а я полагаю, вам не удастся найти среди его служителей ничего, что оправдало бы ваш поступок».

Друг мой сэръ Роджер де Каверли, не проронивший до сей поры ни слова, неодобрительно фыркнул и сказал, что не может понять, почему разумные люди столь серьезно толкуют о пустяках. «Наш сотоварищ, — прибавил он, — вправе нападать на всех, кто того заслуживает; посоветую только, мистер Зритель, быть осторожней, когда речь заходит о сельских сквайрах, украшении английской нации, людях здравомыслящих и здоровых; а надо сказать, некоторым из них не понравилось, что вы без должного уважения говорите об «охотниках на лис».

Капитан Чэсти был ко мне очень мягок, только посоветовал сдержанней и разумней судить об армии и теперь, и впредь.

К этому времени я понял, что члены клуба, один за другим, осудили мои рассуждения о каждом предмете, и сравнил себя с человеком, у которого первой жене не нравились седые волосы, второй же — черные, так что совместными усилиями они ощипали его наголо.

Пока я думал об этом, меня стал защищать еще один друг, достойный священник, который, на мое счастье, находился тогда в клубе. Он сказал, что понять не может, почему те или иные люди смеют считать себя слишком важными для поучения; не знатность, а невинность ограждает от укора; безумство и порок необходимо обличать, где бы ты их ни встретил, особенно же в высших кругах, заметных отовсюду.

Листок ваш, продолжал он, лишь усугубит страдания бедности, если станет обличать тех, кто и так несчастен и выставлен на посмеяние жалкостию своей жизни. Он заметил, что листок принесет немалую пользу, бичуя пороки, слишком обычные, чтобы за них судить, и слишком причудливые; чтобы говорить о них с церковной кафедры. Затем он посоветовал мне смело продолжать начатое и заверил, что, если я кому-либо и не угодил, меня одобряют все те, чья хвала оказывает истинную, а не мнимую честь.

Клуб наш отнесся к этим речам с особым вниманием и согласился с ними благодаря простоте их и чистоте, а также разумности и

силе доводов. Уилл Уллей немедля признал, что друг наш говорил правду, а сам он не будет больше защищать модных дам. Сэр Эндрью с той же искренностью уступил деловые круги; судейский не возражил; примеру его последовали сэр Роджер и капитан Чэсти. Все сошлись на том, что я вправе высмеивать кого захочу, с одним лишь условием: и впредь бороться со злом, а не с отдельными лицами и бичевать порок, не задевая людей.

Споры эти, которые велись для блага человеческого, напомнили мне о других, давних спорах, которые римский триумвират вел людям на гибель. Каждый защищал своих, пока все не поняли, что тогда невозможно осуществить жестокий свой замысел, и, принеся в жертву личные привязанности, бестрепетно казнили множество народу.

Итак, я решил и впредь бесстрашно защищать добродетель и здравомыслие и обличать их противников, чем бы они ни занимались и на какой высоте ни находились, не внемля насмешкам и хуле. Если уличный кукольник перейдет пределы приличия, я смело высмею его; если театр будет воспитывать неразумие и распутство, я не побоюсь об этом сказать. Словом, если я увижу при дворе, в деловых кварталах или в деревне что-либо, оскорбляющее скромность и благонравие, я сделаю все, чтобы привлечь к этому взоры. Заверяю, однако, моих читателей, что ни один из них, более того — ни один из их друзей и недругов не станет мне мишенью, ибо я никогда не опишу дурного человека, который не был бы похож по меньшей мере на тысячу ему подобных, и не выпущу ни одного листка, который не был бы проникнут благоволением и любовью к людям.

К.

## Примечания

<sup>1</sup>...И с окраской

Схожей другого шадит всякий зверь.

Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского  
(Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. 119.)

<sup>2</sup>...обиделись на то, что я толкую о таких пустяках, как опера и кукольный театр... — Об опере и других видах театрального искусства в «Зрителе» писалось не раз, например, в эссе № 5, 13, 18, 29.

## Зритель № 45

Суббота, 21 апреля 1711 г.

Natio Comoeda est.

Juv.<sup>1</sup>

Ничего не желаю я столь пылко, как почетного, долгого мира, хотя прекрасно понимаю, какими он чреват опасностями. Сейчас я веду речь не о политике, но о нравах. Какая лавина парчи и кружев обрушится на нас! Какие каскады глумленья и смеха оглушат нас! Во избежание сих страшных зол надо бы (о, как бы я того хотел!) издать парламентский акт, запрещающий ввозить из Франции все, что слугит суете.

Обитательницы острова нашего уже испытали сильнейшее влияние сей занимательной нации, но долгая распря (поистине, нет худа без добра) ослабила его и едва ли не обрекла на забвение. Помню времена, когда особо изысканные дамы, живущие в поместьях, держали не горничную, а *valet de chambre*<sup>2</sup>, ибо, без сомнения, считали мужчину более проворным, чем представительниц их пола. Я видел сам, как один из этих «горничных» порхал по комнате с зеркалом в руке и все утро напролет причесывал свою хозяйку. Не знаю, есть ли правда в сплетнях о том, что некая леди родила от такой «служанки», но полагаю, что теперь эта порода перевелась в нашей стране.

Примерно тогда, когда мы, мужчины, не гнушались подобной службой, женщины ввели моду принимать гостей в постели. Даму сочли бы невоспитанной, если бы она отказалась видеть гостя, поскольку еще не встала; швейцару отказали бы от места, если бы он не пустил к ней под столь нелепым предлогом. Сам я люблю поглядеть на все, что ново, и потому уговорил друга моего, Уллея, повести меня к одной из дам, повидавших чужие земли, попросив представить меня как иностранца, не понимающего по-английски, дабы мне не пришлось участвовать в беседе. Хотя хозяйка наша стремилась казаться не одетой и неприбранной, она прихорошилась, как только могла, к нашему визиту. Волосы ее пребывали в очаровательном беспорядке, легкий пеньюар с превеликим тщанием небрежно накинут на плечи. Меня же так смущает женская нескромность, что я поневоле отводил взгляд, когда хозяйка наша двигалась под одеялом, и впадал в полное смятение, когда она шевелила рукой или ногой. Со временем кокетки, которые ввели сей обычай, понемногу отменили его, превосходно по-

нимая, что женщина лет шестидесяти может брыкаться до изнеможения, не произведя и малейшего эффекта.

Семпрония в высшей степени восхищается всем французским, хотя, по скромности своей, не пускает гостей дальше будуара. Чрезвычайно странно смотреть, как это прелестное создание беседует о политике, распустив волосы и прилежно изучая в зеркале лицо, безотказно пленяющее находящихся рядом мужчин. Как очаровательно чередует она обращения к гостям и к горничной! Как легко переходит от оперы или проповеди к гребенке слоновой кости или подушечке для булавок! Как наслаждался я, когда она прервала рассказ о своем путешествии, чтобы отдать распоряжение лакею, и пресекла чрезвычайно пылкий нравственный спор, дабы лизнуть мушку!

Ничто не подвергает женщину большей опасности, чем легкость и ветреность нрава, столь свойственные ее полу. Разумная и достойная его представительница должна неустанно следить за собою, дабы не впасть в сии пороки. Во Франции же и поведение, и речи стремятся придать ей особую развязность, или, по их выражению, прелестную причудливость, намного превышающую то, что допускают вкус и добродетель. Почитается изысканным и пристойным громко говорить на людях, притом о вещах, которые можно упомянуть лишь тихо, с глазу на глаз. С другой стороны, краснеть воспрещает мода, молчать же — позорней, чем болтать о чем бы то ни было. Словом, скромность и сдержанность, считавшиеся всегда лучшим украшением прекрасного пола, царят теперь лишь в дружеских беседах и тесном семейном кругу.

Несколько лет тому назад я смотрел трагедию «Макбет» и, на свою беду, поместился под ложей знатной дамы, ныне уже умершей, которая, судя по громким ее высказываниям, только что вернулась из Франции. Незадолго до того, как подняли занавес, она возгласила: «Ах, когда же появятся эти душечки ведьмы?», а при появлении их спросила даму, сидящую за три ложи справа: «Не правда ли, они просто прелесть?» Немного погодя, когда Беттертон<sup>3</sup> произносил один из лучших монологов, она помахала веером, призывая внимание другой дамы, за три ложи слева, и прошептала на весь театр: «Наверное, сегодня мы не увидим нашего милого Волана». Чуть попозже, окликнув по имени молодого баронета, сидевшего на три кресла ближе, чем я, она спросила, жива ли жена Макбета, но, прежде чем он ответил, пустилась в рассуждения о духе Банко. К этому времени ее стали слу-

шать и на нее смотреть. Но я хотел смотреть и слушать пьесу и, спасаясь от сей развязности, удалился из сферы ее внимания в самый дальний угол зала.

Этой детской непосредственности, одного из изящных проявлений кокетства, достигают лишь те, кто путешествовал совершенства ради. Естественное, свободное поведение мило сердцу, и мы не удивимся, что люди стремятся к нему. Но тем, кто не одарен им с рождения, столь трудно его достигнуть, что многие, стремясь к нему, только становятся смешными.

Один чрезвычайно умный француз поведал нам, что придворные дамы его времени считали дурным тоном произнести правильно грубое слово и потому употребляли сии слова как можно чаще, дабы выказать свою воспитанность, их искажая. Некая фрейлина, прибавляет он, нечаянно употребила подобное слово к месту и правильно его произнесла, после чего собравшиеся весьма за нее смутились.

Однако скажу справедливости ради, что многие дамы, побывавшие в дальних краях, нимало не стали хуже и привезли домой ту же скромность, тот же здравый смысл, с какими уехали. И наоборот, немало подражавших иноземцам женщин прожили всю свою жизнь в лондонском тумане. Я знавал даму, никогда не выезжавшую из прихода Сен-Джеймс<sup>4</sup>; однако ее манеры изобиловали всеми причудами, какие только можно позаимствовать, объехав пол-Европы.

К.

## Примечания

<sup>1</sup>...Комедианты — Весь их народ.

Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского  
(Ювенал. Сатиры. М. — Л., 1937, с. 16.)

<sup>2</sup>Лакея (фр.).

<sup>3</sup>Томас Беттертон (1635—1710) — выдающийся трагический актер.

<sup>4</sup>Сен-Джеймский приход — расположен в центре Лондона, включает королевский дворец (ставший официальной резиденцией в 1698 г.)

## Зритель № 49

Четверг, 26 апреля 1711 г.

*Nominem pagina nostra sapit.*

*Mart.<sup>1</sup>*

Джентльмену, не склонному к веселым мужским сборищам или дамским гостиным, естественно искать той беседы, какую мы находим в кофейне. Там человек моего нрава — в своей стихии; ибо, если он не может говорить, он еще приятней прочим и доволен сам, слушая других. Немногие знают, хотя это весьма полезно, что, вступая в разговор, надо прежде всего иметь в виду, чего желает собеседник — слушать вас или снискать ваше внимание. Последнее встречается гораздо чаще, и мне известно множество тонких льстецов, ни единым словом не восхваливших того, кто всякий день дарует им милости, но внимающих любой его фразе. Нам любопытно наблюдать повадки вельмож и людей, им угрожающих; но ровно такие же страсти и интересы царят и в низших сферах, и я, занятый лишь наблюдениями, вижу в каждом приходе, в каждом проулке, в каждой аллее и улице нашего многонаселенного города маленького владыку и маленький двор, где лизоблюды и льстецы завоевывают расположение теми же способами, какие царят и в высшем свете.

Там, куда я захожу всего чаще, люди различаются скорее временем дня, в какое они помыкают ближними, чем истинным превосходством одних над другими. Поскольку я являюсь в кофейню на рассвете, мне известно, что утренний прием друга моего, галантейщика Бивера, превосходит числом льстецов и поклонников приемы наших вельмож и генералов. Каждый из поклонников этих и сам держит в руке газету, но ни один не угадает, какой поступок совершит тот или иной монарх Европы, пока м-р Бивер не вынет изо рта трубку и не оповестит их, что должны сделать союзники при данных обстоятельствах. Кофейня наша расположена неподалеку от одной из судейских корпораций, и м-р Бивер вещает восхищенным слушателям от шести часов до восьми без малого, когда его сменяют будущие законоведы. Некоторые одеты так, словно к восьми часам их ждут в Вестминстере, и глядят столь озабоченно, словно заняты в каждом разбирающемся там деле; другие, напротив, приходят прямо в халате, как бы желая убить время, будто и не собирались в суд. Не припомню, встречал ли я на какой-либо из моих прогулок людей, способных столь успешно и

рассмешить меня, и нагнать на меня скуку, как молодые завсегдатаи кофеен, соседствующих с обитателями закона, встающие на заре лишь для того, чтобы явить миру свою лень. Можно подумать, что эти шалопаи определяют ценность собрата по туфлям и шейному платку, пестрой шапочке и многоцветному одеянию; ибо, в суетности своей, ведут себя друг с другом так, словно судят лишь по внешнему виду. Удалось подметить, что выше ценится тот, кому лучше ведомы прихоти моды; юнец в ярко-алой перевязи, державшийся донельзя горделиво, ходил, мне сдается, прошлой зимой на каждое представление в опере и, если верить слухам, пользовался благосклонностью одной из артисток.

Когда дневные заботы уже не дают нашим джентльменам беспечно наслаждаться утренней небрежностью одежды, они уступают место людям, на чьих лицах начертаны деловитость и разум; одни из них приходят в кофейню ради сделок, другие — ради доброй беседы. Я выше всего ценю речи и поступки тех, кто находится посередине между двумя этими типами; тех, кто не так деловит и боек, чтобы не находить покоя и счастья в тихой, честной жизни, и не так пылок, чтобы пренебрегать обязанностями, ею налагаемыми. Из них-то и состоит лучшая часть человечества — добрые отцы, любящие братья, искренние друзья, верные слуги. Радости им поставляет скорее разум, чем воображение, и потому ни речь их, ни поступки не грешат порывистостью или легковесностью. Самый их вид говорит о том, что им хорошо и спокойно в настоящем, и они не торопят его в угоду страсти или новоявленному замыслу. Именно они созданы для общества и для тех небольших сообществ, где царит добрососедство.

В кофейне встречаются все, кто, живя поблизости, хочет наслаждаться спокойной, будничной жизнью. Евбул властвует здесь в середине дня, когда сюда приходят именно такие люди. Богатством своим он распоряжается разумно, не впадая в мотовство, и являет много ценных, высоких качеств, не занимая никакой общественной должности. Мудрость его и знания служат всем, кто считает нужным ими пользоваться; он и советник, и судья, и поверенный, и друг для всех, кому это понадобится, но не знает ни выгод, какие дают эти поприща, ни даже почета и чести, обычно с ними связанных. Благодарности он не любит; ему важно, чтобы помощь его сделала вас лучше и вы стали служить другим с такой же охотой, с какою он служил вам.

Он одалживает друзьям немалые деньги, хотя мог бы приумножить их на бирже, ибо думает не о своей выгоде, но о пользе ближних.

Власть его над небольшим сообществом, внимающим ему ежедневно, столь велика, что, если, услышав ту или иную новость, он покачает головой, всех охватит печальная растерянность; если же, напротив, он доволен, все весело направятся домой, предвкушая добрый обед. Более того, его так почитают, что, находясь с другими, подражают ему в поступках, судят с такой же мудростью и за своим собственным столом выражают надежду или страх, радость или печаль точно так, как выражал он в кофейне. Словом, каждый становится Евбулом, когда его нет рядом.

Я рассказал о властелинах и дворах, сменяющих друг друга с рассвета до обеда; о вечерних монархах расскажу попозже и завершу мою повесть правлением Тома Тирана, премьер-министра кофейни, властвующего в ней с одиннадцати часов до полуночи и непреклонно отдающего подданным грозные приказания касательно вин, каминов и угля.

Р.

## Примечания

<sup>1</sup> Человеком у нас каждый листок отдает.

Пер. Ф. Петровскою (Марциал. Эпиграммы. М., 1968, с. 282.).

## Зритель № 69

Суббота, 19 мая 1711 г.

Hie segetes, illic veniunt felicius uvae,  
arborei fetus alibi, atque iniussa virescunt  
gramina. Nonne vides croceos ut Molus odores,  
India mittit ebur, molles sua tura Sabaei,  
At Chalibes nudi ferrum, virosaque Pontus  
Castorea, Eliadum palmas Epiros equarum,  
Continuo has leges alternaque foedera certis  
Imposuit natura locis.  
Virg.<sup>1</sup>

Нет в Лондоне места, какое посещал бы я так охотно, как Королевскую торговую биржу. Поскольку я — англичанин, мне приносит тайную радость и тешит мое тщеславие самый вид столь пышного сборища соотечественников моих и чужеземцев, совещающихся о делах рода человеческого и превращающих нашу столицу в рынок всяя Земли. Признаюсь, Биржа кажется мне высшим советом, где представлены все мало-мальски стоящие нации. Посредники в торговом мире — то же, что послы в мире политическом; они вершат судьбы, заключают соглашения и поддерживают непрестанную связь между богатыми сообществами, отделенными друг от друга океаном, морем или же целым континентом. Нередко с удовольствием слушал я, как разрешаются споры между обитателем Японии и лондонским олдерменом, или смотрел, как подданный великих моголов приходит к соглашению с подданным русского царя. Мне в высшей степени приятно бродить среди служителей коммерции, отличающихся друг от друга и языком, и повадкой; то я затешусь в толпу армян, то пропаду среди иудеев, то пристану к стайке голландцев. Попеременно бываю я датчанином, шведом, французом или уподоблюсь тому древнему философу, который, будучи спрошен, откуда он родом, именовал себя гражданином мира.

Хотя я часто посещаю это деловитое сборище, я не знаком ни с кем, кроме друга моего сэра Эндрюю; увидев меня в толпе, он мне улыбается, но не подходит ко мне и как бы меня не замечает. Есть там один купец из Египта, знающий меня с виду, ибо он послал мне денег в Каир; но поскольку я плохо владею нынешним языком коптов, то знакомство наше ограничивается взаимными поклонами.

Арена торговых сделок приносит мне самые разнообразные и существенные наслаждения. Я очень люблю людей, и при виде счастливых, преуспевающих сообществ сердце мое настолько преисполняется радости, что я не могу сдерживать слез. Именно потому я несказанно счастлив, когда столько народу умножает личное свое благосостояние, преумножая в то же время общественный капитал; или, другими словами, обогащает свою семью, привозя в страну все, что ей нужно, и увозя излишнее.

Вероятно, природа постаралась распределить свои милости по различным землям, дабы люди могли непрестанно ездить и общаться, уроженцы разных мест — зависеть друг от друга и все были связаны общими интересами. Почти каждая страна производит что-либо особое. Зачастую пища растет в одном месте, приправа — в другом. Фрукты из Португалии дополнены плодами Барбадоса; настойка китайского куста услащена сердцевинной вест-индских тростников. Филиппинские острова даруют аромат нашим европейским чашам. Наряд знатной дамы нередко сочетает в себе изделия самых разных стран. Муфта и веер явились с противоположных краев света, шарф — из тропиков, капор — чуть ли не с полюса, парчовая юбка находится в тесном родстве с перуанскими приисками, алмазное ожерелье — с недрами Индостана.

Если мы представим себе нашу страну такую, какой она была бы без благ и даров торговли, что за неприютное место мы увидим! Естествоиспытатели говорят нам, что здесь, у нас, росли изначально лишь боярышник и шиповник, желуди и земляной каштан и прочее, в том же духе; что климат наш, сам по себе, без содействия земледельца, не способен создать ничего лучшего, чем терновник, и не породит никаких яблок, кроме диких; что дыни, персики, смоквы, абрикосы, вишни явились к нам издалека, в самое разное время, и прижились в английских садах; и, наконец, что они вырождаются, уподобившись жалким здешним растениям, если садовник предоставит их милости солнца и почвы. Торговля не только обогатила наши сады, она изменила самую нашу жизнь. Английские корабли гружены изделиями и плодами всех стран, жарких и холодных; столы наши уставлены специями, винами и маслами; комнаты полны китайского фарфора и японских безделушек; утренний напиток приходит к нам из дальних уголков земли; мы подкрепляем здоровье американскими снадобьями и спим под индийским балдахинном. Друг мой сэръ Эндрью именуется ви-

ноградники Франции нашим садом, южные острова — нашими парниками, персов — прядильщиками шелка и гончарами — китайцев. Конечно, природа обеспечивает нас самым необходимым, но заморская торговля дополняет пользу разнообразием и к тому же дарует все, чего требуют красота и приличия. Неплохо и то, что мы пользуемся благами самого дальнего севера и юга, не страдая от крайностей климата, породившего их; что взор наш тешат зеленые луга Британии, тогда как вкус услаждают тропические плоды.

По этим причинам и нет в обществе людей более полезных, чем торговцы. Они связывают человечество взаимным обменом благ, распределяют дары природы, дают работу бедным, силу — богатым. Английский коммерсант обращает нашу жемчужину в золото, шерсть — в рубины. Жители мусульманских стран облачаются в наши ткани; обитателей севера спасает от стужи руно наших овец.

Посещая Биржу, я часто представлял себе, что статуя одного из наших былых королей ожила и глядит на многолюдное сборище, всякий день наполняющее залу. Как удивился бы он, услышав в своих небольших владениях все языки Европы и увидев, что люди, которые в его время были бы вассалами какого-нибудь гордого барона, ворочают суммами, каких не бывало нигде, кроме королевской казны! Не увеличивая самое Англию, торговля даровала нам еще одну империю; она умножила число богатых, во много раз повысила ценность наших поместий и присовокупила к ним плоды других, не менее ценных земель.

К.

## Примечания

<sup>1</sup> Здесь счастливее хлеб, а здесь виноград уродится,  
Здесь плодам хорошо, а там зеленеет, не сеян,  
Луг. Не знаешь ли сам, что Тмол ароматы шафрана  
Шлет, а Индия кость, сабей же изнеженный — ладан,  
Голый халиб — железо, струю бровную с тяжким  
Запахом — Понт, а Эпир — кобылиц для побед Олимпийских?  
Установила навек законы и жизни условья  
Разным природа краям.  
Пер. С. Шервинского  
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 66.).

## Зритель № 261

Суббота, 29 декабря 1711 г.

Мой отец, которого я упомянул в моем первом очерке и о котором я всегда вспоминаю с гордостью и благодарностью, очень часто беседовал со мной по вопросу о браке. В молодые годы я, отчасти по его совету, а отчасти по собственной склонности, ухаживал за одной особой, обладавшей большой красотой, которая в начале моего ухаживания отнюдь не питала ко мне отвращения; но так как в силу своей природной молчаливости я не сумел показать себя с наивыгоднейшей стороны, она постепенно стала смотреть на меня как на очень глупого человека и, отдавая предпочтение внешним качествам перед любыми другими достоинствами, вышла за драгунского капитана, который как раз в это время занимался набором рекрутов в тех краях. Это несчастное происшествие породило во мне навсегда отвращение к красивым молодым людям и заставило меня отказаться от попыток искать успеха у прекрасного пола. Наблюдения, которые я вывел в связи с этим, и неоднократные советы упомянутого мною выше отца и явились причиной возникновения нижеследующего рассуждения о любви и браке.

Наиболее приятный период в жизни мужчины в большинстве случаев тот, который проходит в ухаживании, при том, конечно, условии, что его чувство искренне, а предмет ухаживания относится к нему с благосклонностью. Его искание возбуждает все красивые движения души — любовь, желание, надежду.

Искусный человек, который не влюблен, гораздо легче убедит в своей страсти особу, за которой он ухаживает, чем тот, кто любит с величайшим неистовством, ибо подлинная любовь приносит тысячи горестей, обид и нетерпение, которые делают человека неприятным в глазах той, чьего расположения он добивается; не говоря уж о том, что любовь заставляет худеть, рождает страхи, опасения, слабость духа и часто заставляет человека казаться смешным как раз тогда, когда он намеревается показать себя с наилучшей стороны.

В браках, которым предшествует долгое ухаживание, обычно царят наибольшие любовь и постоянство. Чувство должно окрепнуть и приобрести силу еще до брака. Долгий путь надежд и ожидания закрепляет чувство в наших сердцах и приучает быть нежными по отношению к любимому человеку. Ничто не может сравниться по свое-

му значению с положительными качествами особы, с которой мы соединяемся на всю жизнь; эти качества не только приносят нам удовлетворение в настоящем, но часто определяют наше счастье в вечности. Когда друзья делают выбор за нас, то их прежде всего интересует вопрос имущественный; когда же мы сами определяем свой выбор, то решающими являются личные качества особы. И те и другие по своему правы. Первые заботятся о достижении удобств и удовольствий жизни для лица, интересы которого им близки, надеясь в то же время, что состояние, приобретенное их другом, послужит также и к их собственной выгоде. Другие же готовят себе непрерывное празднество. Приятная особа не только возбуждает, но и продлевает любовь, она приносит тайные наслаждения и удовлетворения и тогда, когда пламя первого желания уже потушено. Это вызывает к жене или мужу уважение как друзей, так и незнакомых, и приводит к тому, что семья обретает здоровое и красивое потомство. Я предпочитаю женщину приятную в моих глазах и не уродливую в глазах света, чем самую известную красавицу. Если вы женитесь на замечательной красавице, то должны любить ее с неистовой страстностью, иначе вы не будете отдавать должного ее прелестям; а если вы питаете такую страсть, то почти обязательно она будет отравлена страхами и ревностью.

**Ричард Стил**

**История удивительных приключений  
Александра Селькирка,  
потерпевшего кораблекрушение моряка<sup>1</sup>**

Мне кажется, что позволительно будет рассказать на страницах журнала с таким названием о человеке, рожденном во владениях Ее величества, и поведать одно приключение из его жизни, столь необычное, что, наверное, ничего подобного не случилось с кем-либо другим. Человек, о котором я намерен рассказать, зовется Александр Селькирк; имя его знакомо людям любопытствующим, ибо он приобрел известность тем, что прожил в одиночестве четыре года и четыре месяца на острове Хуан Фернандес. Я имел удовольствие часто беседовать с ним тотчас по его приезде в Англию в 1711 году. Так как был он человеком разумным, весьма любопытно было слушать его рассказ о переменах, происходивших в душе его за время его длительного одиночества. Вспомнив, как тягостно нам оставаться вдали от людей хотя бы на протяжении одного вечера, мы сможем составить понятие о том, каким мучительным казалось столь неизбежное и постоянное одиночество человеку, с юных лет ставшему моряком и привыкшего наслаждаться и страдать, пить, есть, спать — словом, проводить всю жизнь в обществе товарищей. Он был высажен на берег с корабля, давшего течь, с капитаном коего у него произошла ссора, и он предпочел ввериться своей судьбе на пустынном острове, чем оставаться на ветхом корабле под началом враждебного ему командира. Из вещей его дали ему сундучок, носильное платье и постель, кремневое ружье, фунт пороху, достаточно пуль, кремь и огниво, несколько фунтов табака, топор, нож, котел, Библию и другие книги духовного содержания, а также сочинения о навигации и математические приборы. Обида на командира, который столь дурно обошелся с ним, заставляла его желать такой перемены участи как блага до того самого мгновения, как он увидел, что корабль его отчаливает; в эту минуту сердце его сжалось и заныло, ибо расставался он не с одними лишь товарищами, но и со всем человечеством. Запасов для поддержания жизни своей имел он на один только день; остров же изобилвал лишь дикими козами, кошками и крысами. Он полагал, что сможет быстрее и легче удовлетворить свои нужды, подбирая на берегу моллюсков, нежели

охотясь с ружьем за дичью. И на самом деле, он нашел великое множество черепов, чье мясо показалась ему весьма вкусным и которых он первое время часто и в изобилии ел, пока не стали они ему противны, и позже он мог переносить их только приготовленными в виде студня. Потребность в еде и питье служила ему великим отвлечением от размышлений о своем одиночестве. Когда же он сумел удовлетворить эти потребности, тоска по обществу людей охватила его с такой силой, что он стал думать, что был менее несчастлив в то время, когда нуждался в самом необходимом; ибо легко поддержать тело, но желание увидеть вновь лицо человеческое, овладевшее им, когда он на время забывал о телесных нуждах, казалось ему непереносимым. Им овладели уныние, томление и меланхолия, и лишь с трудом удерживался он от того, чтобы не наложить на себя руки, пока мало-помалу, усилиями рассудка и благодаря усердному чтению Священного Писания и прилежному изучению навигации, по прошествии восемнадцати месяцев он вполне примирился со своей участью. Когда добился он своей победы, то цветущее его здоровье, уединение от мира, всегда безоблачное, приветливое небо и мягкий воздух превратили жизнь его в непрерывное празднество, и жизнь стала для него столь же радостной, сколь раньше была печальной. Находя теперь удовольствие во всех повседневных занятиях, превратил он хижину, где спал, ветвями, срубленными в обширном лесу, на опушке которого хижина эта была расположена, в восхитительную беседку, постоянно обвеваемую ветерком и легким дуновением воздуха; и это сделало его отдых после охоты равным чувственным удовольствиям.

Я забыл упомянуть, что пока пребывал он в унынии, чудовища морских глубин, которые нередко выплывали на берег, увеличивали ужас одиночества; страшные их завывания и звуки их голосов, казалось, были слишком ужасны для человеческого уха; но когда к нему вернулась прежняя его бодрость, он мог не только с приятностью слушать их голоса, но даже приближаться к самим чудовищам с большой отвагой. Он рассказал потом о морских львах, которые своими челюстями и хвостами могли схватить и сокрушить человека, если бы человек к ним приблизился; но в то время духовные и телесные силы его были столь велики, что он часто бестрепетно приближался к ним; лишь потому, что дух его был спокоен, мог он с величайшей легкостью убивать их, ибо заметил, что хотя челюсти и хвосты их были столь устрашающи, животные эти поворачивали свое туловище с

необычайной медлительностью, и стоило ему как раз стать против середины их тела и так близко, как только возможно, и ему удавалось с необычайной легкостью умерщвлять их топором.

Дабы не погибнуть от голода в случае болезни, он перерезал сухожилия у молодых козлят; после чего, не потеряв здоровья, они навсегда утратили быстроту ног. Множество таких козлят паслось вокруг его хижины; когда же бывал он в добром здоровье, мог он догнать самую быстроногую козу, и ему всегда удавалось поймать ее, если только она не бежала под гору.

В жилище его чрезвычайно докучали ему крысы, которые грызли его платье и даже ноги его, когда он спал. Чтобы защитить себя от них, он вскормил и приручил множество котят, которые лежали на его постели и защищали его от врагов. Когда платье его совсем обветшало, он высушил и сшил козьи шкуры, в которые и оделся и вскоре научился пробираться сквозь леса, кустарники и заросли столь же свободно и стремительно, как если бы сам был диким животным. Случилось ему однажды, когда он взбегал на вершину холма и сделал прыжок, чтобы схватить козу, свалиться вместе с нею в пропасть; он пролежал там без чувств в течение трех дней, измеряя продолжительность времени по приросту месяца с момента своего последнего наблюдения.

Подобная жизнь стала для него столь восхитительно приятной, что ни одной минуты не тяготился он ею; ночи его были безмятежны, дни радостны благодаря умеренности и упражнениям. Он взял за правило предаваться молитвенным упражнениям в определенные часы и в определенных местах, и он творил свои молитвы вслух, дабы сохранить способность речи и дабы изливать свои чувства с большей силой.

Когда я впервые встретил этого человека, я подумал, что даже не зная я заранее о нраве его и о приключениях, я все равно распознал бы по облику и по манерам, что он надолго был отлучен от людского общества: во взоре его изображались важность глубокая, но бодрая, и какое-то пренебрежение к окружающим его обыденным предметам, как если бы он был погружен в задумчивость. Когда корабль, на котором он вернулся в Англию, подошел к его острову, он встретил с величайшим равнодушием возможность уехать на этом корабле, но с большой радостью оказал помощь морякам и пополнил их запасы. Он часто оплакивал свое возвращение в свет, который, как он говорил, со всеми своими наслаждениями не заменит ему утраченного спокой-

ствия его уединения. Я много раз беседовал с ним, но, повстречав его на улице по прошествии нескольких месяцев, не мог его узнать, хотя он сам ко мне обратился; общение с жителями нашего города стерло следы уединенной жизни с его облика и совсем переменяло выражение его лица.

Рассказ этого бесхитростного человека служит назидательным примером того, что счастливее всех тот, кто ограничивает свои желания одними естественными потребностями; у того же, кто поощряет свои прихоти, нужды возрастают наравне с богатством; или, как он сам говорил, «у меня есть теперь 800 фунтов, но никогда не буду я столь счастлив, сколь был тогда, когда не имел за душою ни фартинга».

### Примечания

<sup>1</sup> «История Александра Селькирка» была опубликована в № 26 журнала *Englishman* в 1713 г. В основу очерка легли действительно имевшие место факты из жизни реального человека. «История...» стала источником для сюжета знаменитого романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Выше приводятся отрывки из этого очерка. Печатается по: Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия: В 2-х томах / Под ред. Б.И. Пуришева. Т. 1. Пер. Л. Никитиной. М., 1988.

## Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Определите характеристики целевой аудитории «Зрителя» Дж. Аддисона и Р. Стила.
2. В чем состоит отличие «Зрителя» от конкурирующих изданий?
3. Каким образом «Зритель» будет способствовать положительным изменениям в обществе?
4. Что, по мнению авторов «Зрителя», портит современных женщин? Приведите примеры достойного поведения женщин и поведения, заслуживающего осуждения.
5. По каким критериям необходимо выбирать объекты критики и высмеивания согласно мнению авторов «Зрителя»? Критика в чей адрес по их мнению недопустима?
6. Какую общественную пользу приносят кофейни? Какие функциональные аналоги кофейен, описанных в «Зрителе» существуют в современном городском пространстве?
7. Какого мнения о браке и семье придерживаются авторы «Зрителя»?
8. Какие этапы эволюции психологического состояния Александра Селькирка выделены в очерке Р. Стила?
9. Какую роль в судьбе Александра Селькирка сыграло чтение?
10. Какой урок должны извлечь читатели из очерка об Александре Селькирке согласно замыслу автора?

## Чарлз Диккенс

### Шустрые черепахи<sup>1</sup>

У меня неплохой капиталец. Все, что я трачу, я трачу на себя. Остальное прикапливаю. Таковы мои правила, и за правила свои я держусь крепко и не отступлюсь от них никогда.

Кое-кто пытается изобразить меня скупым, но это неверно. Я никогда ни в чем себе не отказываю. Иной раз, правда, скажешь себе: «Сноуди (это у меня фамилия такая), потерпи недельку, друг, и эти же персики будут дешевле, тогда и полакомишься!» — или: «Сноуди, повремени с вином; пойдешь обедать в гости и будешь себе пить его бесплатно!» Ну, а отказывать себе в чем-нибудь — нет! Если, например, я вижу, что бесплатно мне не приобрести того, что приглянулось, что ж! — я вынимаю кошелек и плачу! Провидение наделило меня хорошим аппетитом, и я не считаю себя вправе пренебрегать этим даром.

Всей родни у меня — один брат. Если он чего и попросит у меня, я не даю. Все люди — братья, так почему же я должен делать исключение для него одного?

Живу я в старинном городе, у нас свой собор. Нет, к церкви я касательства не имею, но это не значит, что у меня нет места. Ну, да это неважно! Может быть, и тепленькое. Может быть, и синекура. Словом, это мое дело. Может, да, а может — нет. Я и брату ничего не рассказываю о себе, а я всех людей почитаю за братьев. Негр, скажем, ведь он — человек и брат, так что же — прикажете отчитываться в своих делах перед ним? Ну, нет!

Я частенько навещаю в Лондон. Хороший город. Я так смотрю на это дело: в Лондоне, конечно, жизнь дорогая, зато там вы за свои деньги получаете настоящую вещь — то есть я хочу сказать, тут все первостатейное. Такого вы нигде, ни в каком другом месте не достанете. Потому-то я и говорю всем, кто хочет получить за свои денюжки настоящую вещь: «Поезжайте в Лондон, там и купите, что надо».

Сам-то я поступаю вот как. Еду прямешенько к миссис Ским в «Частную Гостиницу и Пансион для коммивояжеров», что возле Олдерсгейт-стрит, Сити (в железнодорожном путеводителе Бредшоу имеется адрес, там-то я его и разыскал), и плачу девять пенсов в день за «постель и завтрак, с мясом и услугами включительно». Я рассчи-

тал все в точности и убедился, что за мой счет миссис Ским никоим образом не разживется. Напротив, полагаю, если б все ее клиенты были бы такими же, как я, эта женщина разорилась бы через месяц.

Вы можете спросить, зачем я останавливаюсь у миссис Ским, когда я мог бы остановиться в гостинице Клэрэн-дон? Давайте рассудим. Что, кроме сна, может предложить мне постель в Клэрэндоне? Ничего. Ну так вот, сон в гостинице — вещь дорогая, и у миссис Ским он обходится во много раз дешевле. Я произвел расчеты и могу сказать без обиняков, учитывая все привходящие обстоятельства, что это дешево. Можно ли сказать, что сон в номерах у миссис Ским — товар худший, нежели сон в клэрэндонской гостинице? Поскольку я одинаково хорошо сплю и тут и там, для меня это равноценный товар. Так зачем же мне тащиться в Клэрэндон?

Вы скажете: а завтрак?

Хорошо. Завтрак. У миссис Ским я не получу тех деликатесов, которые я мог бы иметь в Клэрэндоне. Допустим. А если я их не хочу! Мое мнение такое, что человек — не животное, не весь в плотском. Ему дан интеллект. Если он слишком сытным завтраком этот интеллект заслонит, как же ему впоследствии, днем, употребить свой интеллект на размышления относительно обеда? Вот ведь в чем дело! Мы не должны закабалить свою душу. Она должна парить. Так уж положено.

Завтрак у миссис Ским вполне сытный (хлеб с маслом в неограниченном количестве; мясо, правда, порционно) и вместе с тем не слишком обильный. Таким образом природные способности мои не притупляются, и я могу целиком направить их на упомянутую уже мною цель; к тому же я могу себе сказать: «Ну, вот, Сноуди, ты сегодня сэкономил шесть... восемь... десять—целых пятнадцать шиллингов! Что бы ты хотел сегодня скушать на обед? Заказывай, Сноуди, не скромничай, ты заслужил награду».

За одно я ругаю Лондон — это за то, что он сделался штаб-квартирой самых радикальных воззрений, какие только водятся в Англии. Я считаю, что в этом городе очень много опасных людей. Я считаю, что этот журнал (я имею в виду «Домашнее чтение») — издание чрезвычайно опасное, и пишу эту свою статью с тем, чтобы обезвредить его действие. Мое политическое кредо — пусть нам будет хорошо. Нам ведь и так хорошо. Мне по крайней мере очень хорошо. И оставьте нас в покое, пожалуйста!

Все люди — братья, и мне кажется, что просто не похристиански, в конце концов, говорить своему брату, что он не развит, унижен, грязен и тому подобное. Это и невежливо и неблагородно. Вот вы мне подсказываете, что я должен любить своего брата. А я отвечаю: «Я его и люблю». Уверяю вас, я всегда готов сказать своему брату: «Вот что, любезный, я к тебе весьма благоволю, а ты отправляйся с богом. Ступай себе своим путем, а я — своим. Все, что существует, есть благо, а чего нет — зло. И незачем поднимать шум». В этом, на мой взгляд, единственное назначение человека, и только настроив свой дух на такой лад, и следует отправляться обедать.

В таком-то умонастроении не так давно, будучи в Лондоне, где я воспользовался «постелью и завтраком с мясом и услугами включительно» в пансионе миссис Ским, я направился пообедать и вспомнил известное изречение, произнесенное, если память мне не изменяет, кем-то, когда-то и по какому-то случаю и гласящее, что человек может заимствовать мудрость у низших организмов. Мне показалось весьма отрадным фактом, что великую мудрость можно почерпнуть у такого благородного животного, как морская черепаха.

В день, о котором я говорю, я собрался заказать на обед именно черепаху. То есть я хочу сказать, что черепаха должна была составить главное блюдо в моем меню. Хорошая миска супа, пинта пуншу и — ничего тяжелого! — только нежный, сочный бифштекс. Я люблю нежный, сочный бифштекс. И всякий раз, как закажу себе это блюдо, говорю: «Сноуди, ты поступил правильно».

Если уж я решу полакомиться, деньги — не в счет. Тут только думаешь о том, чтобы деликатес был в самом деле отменным. И вот я пошел к приятелю, члену муниципального совета, и имел с ним нижеследующую беседу:

Я ему:

— Мистер Грогглиз, где самые вкусные черепахи? Он мне:

— Если вам угодно скушать тарелку супа, забегите, пожалуй, к Берчу.

Я ему:

— Мистер Грогглиз, я полагал, что вы меня знаете. Как же вы можете говорить о тарелке супа? Нет, я намерен обедать. Мне нужна не тарелка, а миска.

Тогда, подумав с минуту, мистер Грогглиз голосом, в котором слышится решимость, произносит:

— Леденхолл-стрит. Напротив Индиа-Хаус<sup>2</sup>.

Мы расстались. Весь этот день я предавался умственной деятельности, а в шесть часов вечера направил свои стопы к дому, который мне был рекомендован Грогглзом. В углу передней, ведущей в кофейню, я приметил большой тяжелый сундук и подумал, что в нем, наверное, заключена черепаха небывалых размеров. Сопоставив, однако, впоследствии размеры черепахи, которую мне подали к обеду, со счетом, который мне подали после обеда, я понял, что в сундуке, должно быть, хранилась хозяйская выручка.

Я объяснил официанту, что привело меня сюда, и упомянул имя мистера Гроггла. Он с чувством повторил за мной: «Миску черепахового супа и нежный, сочный бифштекс». Еще утром твердый голос, которым Грогглз произнес свой совет, вселил в мою душу уверенность, что все будет в порядке. Манеры официанта укрепили меня в этом убеждении. Вся кофейня благоухала черепахой, и пар от сотен галлонов черепахового супа, поглощаемого в этих стенах, осел на них и поблескивал росой. Я бы мог, если бы захотел, начертать свое имя перочинным ножом на этой эманации бесчисленных черепах. Вместо этого, однако, под влиянием теплого пара, витавшего над моей головой, я весь отдался во власть голодной задумчивости и пытался вообразить себе Вест-Индию и Остров Восхождения.

Между тем обед мой появился и — исчез! Опустив занавес над этой трапезой и закрыв крышку опустевшей суповой миски, скажу лишь одно: обед был восхитителен, и уплатил я за него соответственно.

Все было кончено, и я сидел, печалась о том, что вследствие несовершенства земного бытия трапеза не может длиться вечно. Но тут официант, смахивая крошки со стола, прервал ход моих мыслей и спросил:

— Не желаете ли посмотреть черепах, сэр?

— Каких таких черепах, любезнейший? — спокойно спросил я его.

— Черепах, что находятся внизу, в резервуаре, — отвечал он.

Черепахи в резервуаре! Боже милостивый!

— Конечно!

Официант зажег свечку и провел меня в подвал, где под чисто выбеленными сводами, при свете газового рожка мне открылась картина столь же удивительная, сколь поучительная, говорящая о вели-

чии моего отечества. «Ах, Сноуди», — воскликнул я, и первое, что пришло на ум, было: «Правь, Британия, правь, Британия, владычица морей!»<sup>3</sup>

Сводчатый подвал заключал в себе от двух до трех сотен черепах — и все они были живые. Одни плавали в резервуарах, другие выползли подышать воздухом на длинные сухие дорожки, устланные соломой. Тут были черепахи всех размеров, многие — просто огромные. Некоторые из этих огромных черепах, переплетясь с более мелкими, жались по углам, и, развесив свои плавники над водопроводными трубами и опустив голову, вздрагивали, по-видимому, уже в предсмертных конвульсиях. Другие спокойно лежали на дне резервуара, третьи — лениво поднимались со дна. Те, что находились на дорожках, устланных соломой, были покойны и неподвижны. Это было восхитительное зрелище. Я люблю такие зрелища. Они будят воображение. Если вы хотите испытать действие подобного зрелища на себе, заходите в домик напротив Индиа-Хаус — в любой день! Пообедайте там, заплатите по счету и потом попроситесь вниз.

Два молодых человека атлетического телосложения, без сюртуков и с рукавами, закатанными под самые плечи, ухаживали за этими благородными животными. Пока один из них возился с самой большой черепахой, подтаскивая ее к краю резервуара, чтобы я мог полюбоваться на нее, мне вдруг пришла в голову совершенно новая для меня мысль. Надо сказать, что я люблю мысли. Всякий раз, что мне забредет какая-нибудь мысль в голову, я говорю себе: «Сноуди, запиши!»

Мысль, которая забрела мне в голову на этот раз, была... мистер Грогглз! Передо мной была не черепаха, а — воплощенный мистер Грогглз. Черепаху подтащили ко мне жилеткой вперед, если так можно выразиться, — точно такую жилетку я видел на мистере Грогглзе. Тот же край, почти тот же цвет, и, если бы не отсутствие золотой цепочки от часов да свисающих с нее брелоков, я бы решил, что это и есть жилетка мистера Грогглза. Черепаху распирало, что еще более увеличивало ее сходство с мистером Грогглзом. Я никогда еще не имел случая разглядывать шею черепахи вблизи. Расположение складок было точное повторение складок на шейном платке мистера Грогглза. Глаза, в которых светилась мысль, — разумеется, в пределах, позволительных для человека умеренного направления, — были глазами мистера Грогглза. Когда атлетический молодой человек отпустил

черепашу, она тяжело шлепнулась на дно резервуара, мотнув головой, — точь-в-точь мистер Гроггльз, плюхающийся в кресло после своей очередной речи против санитарных мер, предложенных в муниципальном совете!

Я не мог удержаться и мысленно произнес: «Ай да Сноуди, ай да молодец! В твоей аналогии заключен глубокий смысл, Сноуди. Поздравляю тебя!» Я подошел к молодому человеку, который между тем подтащил к краю резервуара еще несколько черепах. Все они походили на первую — каждая представляла собой разновидность мистера Гроггльза, в каждой обнаруживалось разительное сходство с джентльменами, которые имели обыкновение этих черепах поглощать. «Хорошо, Сноуди, — сказал я, — что ты из этого заключаешь?»

«А то, сударь, — ответил я, — что стыд и позор всем этим радикалам и революционерам, вечно толкующим о прогрессе! Сударь, — продолжал я, — я заключаю из этого, что подобное сходство между черепахами и гроггльзами неспроста. Оно существует затем, чтобы указать человечеству, что всякий Гроггльз должен брать пример с черепахи и что от Гроггльза мы вправе ожидать шустрости черепахи, не более». — «Сноуди, — ответил я на это, — ты прав. Ты попал в самую точку, Сноуди!»

Мысль эта полюбилась мне чрезвычайно, ибо, если мне что и ненавистно на свете, так это перемены. Совершенно очевидно, что миру перемены не нужны, что они ему ни к чему, что он не создан для того, чтобы меняться. Требуется одно, а именно (как я, кажется, уже указывал) — чтобы нам было хорошо. Вот как я смотрю на это дело. Пусть нам будет хорошо, и оставьте нас в покое! Именно эту мысль и прочитал я в чертах Гроггльза, то есть я хочу сказать, черепахи, когда это благородное животное, наполовину вытащенное из воды, плюхнулось обратно, на дно резервуара.

Впрочем, у меня есть знакомые в муниципальном совете и помимо Гроггльза, так что примерно через неделю после описанного события я сказал себе: «Сноуди, на твоём месте я сходил бы сегодня на заседание и послушал бы, что там говорят». Я пошел. Там происходило то, что я называю хорошей, классической английской дискуссией. Один оратор с большим красноречием осуждал французов за то, что они ходят в деревянных башмаках. Другой оратор напомнил первому еще об одном предосудительном обычае чужеземцев — а именно, о поедании лягушек. А я-то боялся — и, к стыду своему, должен при-

знать, что пребывал в этом заблуждении последние несколько лет, — я боялся, что эти бакалейные принципы отошли в прошлое! Как отрадно обнаружить, что великие мужи города Лондона в году одна тысяча восемьсот пятидесятом придерживаются их по-прежнему! Мне припомнились шустрые черепахи.

Впрочем, вскоре мне снова представился случай вспомнить шустрых черепах. Горсточке радикалов и революционеров удалось каким-то образом проникнуть в муниципальный совет, который я почитал за один из последних оплотов нашей многострадальной конституции. И вот я услышал речи, в которых ораторы требовали уничтожения Смитфильдского рынка (являющегося, на мой взгляд, неотъемлемой частью вышеупомянутой конституции), назначения городского врачебного инспектора, надзора за общественным здоровьем и прочих преступных мероприятий, направленных против государства и церкви. Мистер Гроггльз, как и следовало ожидать, горячо и решительно выступал против подобных предложений. Настолько горячо, что, как я узнал впоследствии от миссис Гроггльз, у него в тот же вечер сделался довольно сильный прилив крови к голове. Все приверженцы партии Гроггльза тоже сопротивлялись новым мерам, так что душа радовалась при виде того, как жилетки одна за другой вздымались в конституционном порыве, заявляли протест и снова опускались в кресла. Но вот что более всего поразило меня. «Сноуди, — сказал я, — вот, сударь, перед вами дальнейшее воплощение вашей мысли! Ведь эти радикалы и революционеры и есть атлетические молодые люди с закатанными рукавами, которые подтаскивают шустрых черепах к краям резервуаров! А Гроггльзы — это черепахи, поднимающие на один миг голову, перед тем как снова плюхнуться на дно. Честь и слава Гроггльзам! Честь и слава Совету Шустрых Черепах! Мудрость черепахи — надежда Англии!»

Из сказанного можно вывести тройную мораль. Во-первых, черепахи и Гроггльзы тождественны; сходство между ними поразительно — как внешнее, так и внутреннее. Во-вторых, черепаха — вещь хорошая во всех отношениях, и человеку надлежит взять себе за образец шустрость черепахи и не стремиться ее перегнать. И в-третьих, всем нам хорошо. Оставьте нас в покое!

## Примечания

<sup>1</sup> Статья опубликована 26 октября 1850 г. в журнале «Экзаминаер».

<sup>2</sup> Индия-Хаус – здание, где помещались учреждения, связанные с управлением Индией

<sup>3</sup> «Правь, Британия, правь Британия, владычица морей!» — английская песня, ставшая вторым, неофициальным гимном Великобритании. Её автор – Джеймс Томсон (1700-1748).

## О том, что недопустимо<sup>1</sup>

Согласно английским законам, никакое явное преступное деяние не может остаться без должного возмездия. Как утешительно это знать! Меня всегда глубоко восхищало английское правосудие, простое, дешевое, всеобъемлющее, доступное, непогрешимое, сильное в поддержке правого, бессильное в потворстве виновному, чуждое пережиткам варварства, явно нелепым и несправедливым в глазах всего мира, оставившего их далеко в прошлом. Радостно видеть, что закон не способен ошибиться — дать маху, кик говорят наши американские сородичи, или взять под защиту негодяя; радостно созерцать все более уверенное шествие Закона в судейском парике и мантии, ведущего за руку беспристрастную богиню правосудия по прямой и широкой стезе.

В настоящее время меня особенно поражает величие закона в деле охраны своих скромных служителей. Наказание за любое правонарушение в виде денежного штрафа — мера, настолько просвещенная, настолько справедливая и мудрая, что, право, всякая похвала была бы излишней, но кара, постигающая подлого негодяя, нанесшего телесное увечье полицейскому, приводит меня в состояние восторга и умиления. Я постоянно читаю в газетах о том, что подсудимый, имярек, приговорен к принудительным работам сроком на один, два, а то и три месяца и тут же читаю протоколы полицейского врача о том, что за указанное короткое время столько-то полицейских прошли лечение от подобных увечий; столько-то из них вылечились, пройдя очищение страданием, на что преступники и рассчитывали, судя по характеру нанесенных ранений; а столько-то, став увечными и немощными, были уволены со службы. И таким образом я знаю, что зверь в образе человека не может утолить свою ненависть к тем, кто пресекает преступления, сам не пострадав при этом в тысячу крат сильнее, нежели предмет его ярости, и не послужив тем самым суровым примером в назидание другим. Вот когда величие английского закона наполняет меня тем чувством восторга и умиления, о котором я говорил выше.

Гимны, звучавшие в последнее время в моей душе в честь решимости закона пресечь, путем суровых мер, угнетение Женщины и дурное обращение с ней, нашли отклик в наших газетах и журналах. Правда, мой неуживчивый друг, носящий удивительно неподходящее имя — Здравый Смысл, — не совсем удовлетворен на этот счет. И он

обратился ко мне с такими словами: «Взгляни на эти зверства и скажи, считаешь ли ты шесть лет (а не шесть месяцев) самой тяжелой каторги достаточным наказанием за такую чудовищную жестокость? Прочти о насилиях, список которых растет день ото дня, по мере того как все больше и больше страдальцев, черпая поддержку в законе, вошедшем в силу шесть месяцев назад, заявляют о своем долготерпении. Ответь: что же это за правовая система, которая с таким опозданием предлагает столь слабое средство против такого чудовищного зла? Подумай о насилиях и убийствах, скрытых во тьме последних лет, и спроси себя, не звучит ли твое теперешнее восхищение законом, так робко утверждающим первооснову всякого права, насмешкой над благодетельными сводами законов, громоздящимися на бесчисленных полках?»

И вот так мой неуживчивый друг язвит меня и мною обожаемый закон. Но с меня довольно того, что я знаю: мужчине калечить или медленно сводить в могилу жену или любую женщину, живущую под его кровом, и не понести наказания, как подсказывает справедливость и чувство человечности, — это то, что недопустимо.

А преследовать и унижать женщину — намеренно, нагло, оскорбительно, открыто, упорно — это недопустимо в высшей степени. Все это не вызывает сомнения. Мы живем в году тысяча восемьсот пятьдесят третьем. Если бы такое было допустимо в наше время, то вот уж действительно можно было бы сказать: Пар и Электричество оставили ковьяляющий Закон далеко позади.

Позвольте мне описать совершенно невозможный случай — единственно ради того, чтобы показать мое восхищение перед законом и его отеческой заботой о женщине. Это будет как раз кстати сейчас, когда большинство из нас превозносят закон за его рыцарское беспристрастие.

Допустим, молодая дама становится богатой наследницей при обстоятельствах, приковавших всеобщее внимание к ее имени. Помимо скромности и любви к уединению, она известна лишь своими добродетелями, милосердием и благородными поступками. Теперь представьте себе отпетого негодяя, настолько низкого, настолько лишенного смелости, присущей самому подлому мошеннику, настолько потерявшему всякий стыд и всякое приличие, что он задумал такое своеобразное предприятие: преследовать молодую женщину до тех пор, пока она не откупится от его преследований. Представьте себе, как он обдумывает свое предприятие, рассуждая сам с собой так: «Я ничего о

ней не знаю, никогда не видел ее; но я — банкрот, с плохой репутацией и без доходного занятия; я буду преследовать ее — и это будет моим занятием. Она ищет уединения; я лишу ее уединения. Она избегает толков; я ослаблю ее. Она богата; ей придется раскошелиться. Я беден; вот моя добыча. Суд общества? Что мне до него! Я знаю закон: он станет на мою сторону».

Конечно, трудно предположить, что такое стечение обстоятельств возможно и что такого зверя еще не посадили за решетку или не прикончили на месте. Однако дайте волю вашему воображению и представьте себе этот крайний случай. Итак, он принимается за дело и трудится усердно в течение, скажем, пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет. Он сочиняет нелепейшую, грубейшую ложь, которой не верит никто из услышавших ее. Он заявляет, что молодая женщина обещала выйти за него замуж и в подтверждение показывает, скажем, глупые стишки, которые, он клянется (ибо в чем он не может только поклясться, кроме как в том, что есть на самом деле?), написаны ее рукой.

Несчастная предстает, когда ему заблагорассудится, перед ограниченными провинциальными крючкотворами и коптящими грошовыми плошками их правосудия. Он превращает закон в тиски, чтобы заставить ее руку выпустить кошелек, ибо она имела мужество не отдавать его сначала. Он превращает закон в дыбу, без конца терзающую ее, ее чувства, ее заботу о живых и память об умерших. Он потрясает буквой закона над головами робких присяжных, выбранных им для своей низкой цели, и запугивает их до того, что они готовы терпеть самую наглую ложь. А так как закон — это ничтожная буква закона, а не всеобъемлющий дух его, судья готов дать негодяю взятку за то, что тот милостиво не заметил ошибки правосудия (освященной многолетней традицией), касавшейся жалкой формальности, вроде того, что-де судейская надпись на документе красуется не совсем там, где ей положено. И этот страж закона готов гласно хвалить необычайные духовные совершенства негодяя, хотя из письменных доказательств, лежащих перед мудрыми очами означенного стража, ясно видно, что тот не умеет даже грамотно писать. Зато он знает закон. И буква закона на стороне негодяя, а не на стороне его жертвы.

И можно предположить, что долгие годы он ускользает от наказания за свое преступление. Время от времени ему угрожает тюрьма, но его отпускают на поруки, и он снова принимается за прежнее. Он

совершает преднамеренное лжесвидетельство, но это лишь закоулок его деятельности, и он отделяется легким наказанием, а по столбовой дорожке своего преступления он шествует нагло и безнаказанно. Бредущий вслепую, велеречивый, запутанный Закон спорит с ним о пустяках и благодаря этому процветает; они прекрасно ладят — друзья, достойные друг друга, и оба — пастыри.

Так вот: я готов признать, что если бы подобная история могла произойти, если бы она длилась так долго и получила бы такую огласку, что весь город знал бы о ней во всех подробностях; если бы она была известна, как само имя королевы; если бы она никогда не всплывала снова и снова в судах, пробуждая благородное негодование всех присутствующих, не искушенных в судебных тонкостях; и если бы, несмотря на это, гнусный негодяй продолжал бы вести свое дело так же легко, как он его начал, и предмет его коварных замыслов не находил бы никакого спасения; вот тогда я признал бы, что закон — это мошенничество и заранее обреченное на неудачу предприятие. Но к счастью, случая, подобного этому, как мы знаем, закон никогда не допустит.

Никогда не допустит. Если такой преступник предстанет перед судом, закон обратится к нему так: «Встань, негодяй, и выслушай меня! Я не скроен, как ты это себе воображаешь, из лоскутьев и заплат. Я не опустился до того, что любой проходимец может использовать меня для удовлетворения самых низких вожделий и выполнения самых грязных замыслов. Не для того закон является неотделимой частью дорогостоящей системы, на содержание которой великий и свободный народ радостно отдает часть своего труда. Не для того я постоянно славлю моих судей и стряпчих и взираю с высоты моего положения на море судейских париков. Я не пустая игра в мудреные слова. Я — Принцип. Я создан теми, кто может ниспровергнуть меня и непременно сделает это, если я буду неспособен наказать преступника; я создан на пользу общества, от имени которого я действую и от которого я получаю всю власть. Я хорошо знаю, что ты — преступник. Вот они передо мной — доказательства, что ты — лживый, ловкий, наглый, зловерный мошенник. И, дабы не стать и мне еще худшим мошенником, я прежде всего должен раздавить тебя, что я и сделаю, пока ты в моих руках.

Слушай меня, негодяй, и не прекословь. Ты — одна из тех акул, чьи глаза разгораются при виде того, как кареты, запряженные ше-

стерками лошадей, мчатся сквозь парламентские законы, ибо эти люди надеются проташить вслед за ними и свои грязные дроги с требухой по тем же кривым путям. Но знай, что я — больше, чем сеть извилистых ходов и закоулков, что, по крайности, есть у меня одна прямая дорога: к разуму; дорога, по которой, ради всеобщей защиты и во исполнение моей первейшей обязанности, я намерен отослать тебя в надежное место, наперекор пятидесяти тысячам законов, ста тысячам разделов и пятистам тысячам пунктов.

Ибо знай, хищник, что если закон имеет хоть какую-то силу, то лишь потому, что над его запутанной буквой царит его дух. И если я — дитя Справедливости, на что я притязаю, а не порождение Пронырливого Хитроумия, этот дух, прежде чем я успею отбубнить еще один судебный довод, отправит тебя и всех тебе подобных туда, где тебе подобает быть. И если он не сумеет сделать этого сам, я велю букве закона помочь ему. Но я не буду выставлять на позор и осмеяние тех, кто мне дороже жизни, я не потерплю, чтобы твои пальцы грязнили мои одежды, твой наглый язык порочил меня и твое бесстыдное лицо касалось меня, как продажной блудницы».

С такими словами Закон наверняка обратился бы к любой подобной личности, если бы такая существовала. И это — одна из причин, помимо других, весьма сходных, в силу которой я славлю закон и готов пролить свою кровь, защищая его. По этой же причине я горд, как англичанин, сознанием того, что преступное покушение на честь и жизнь женщины, которое я представил в своем разыгравшемся воображении, не может быть предпринято и относится, как это и подобает, к числу деяний, которые закон никогда не допустит.

## Примечания

<sup>1</sup> О том, что недопустимо. Статья опубликована в журнале Диккенса «Домашнее чтение» 8 октября 1853 г.

## К рабочим людям<sup>1</sup>

Сейчас, когда еще свежа память об ужасном море<sup>2</sup>, когда всякий, кто только не закрывает себе глаза нарочно, может на каждом шагу наблюдать последствия этого мора в виде душераздирающих картин бедности и разорения, священный долг всех журналистов — объявить своим читателями, к каким бы слоям общества они ни принадлежали, что в глазах господ бога они будут повинны в массовом убийстве, покуда не возьмутся всерьез за благоустройство своих городов и не примут мер к улучшению условий жизни в домах, где обитают неимущие.

Впрочем, лучшие наши газеты, отдавая себе отчет в ответственности, на них лежащей, будоражили общественную совесть с такой силой, что по поводу этого животрепещущего вопроса почти ничего не остается добавить.

Однако нам хотелось бы пойти еще дальше наших коллег из «Таймса», выступивших с весьма энергичным обращением к рабочим людям Англии, и умолять их (с тем, чтобы они не повторили роковой ошибки в будущем) — не поступаться своими исконными интересами и не давать обманывать себя политикам, стоящим у власти — с одной стороны, и наглым мошенникам — с другой. Высокородный лорд и досточтимый баронет, почтенный джентльмен и почтенный ученый джентльмен, так же как почтенный и достославный джентльмен, как весь этот почтенный круг, борясь за место, власть, протекцию и земные блага, отвлекают внимание рабочего человека от его основных нужд — так же, как в свое время отвлекал его внимание этот злополучный и некогда популярный горе-вождь, ныне доживающий свой век в сумасшедшем доме<sup>3</sup> в состоянии безнадежного слабоумия. Ко всем их туманным посулам, которые они предложат взамен истинных благ, народ — и это его первейшая обязанность — должен оставаться неколебимо слеп и глух. Превыше всего следует твердо настаивать на своем праве и на праве своих детей пользоваться всеми благами жизни и здоровья, которые провидение предназначает для всех; народ ни в коем случае не должен давать какой бы то ни было партии действовать от его имени, пока не будут очищены жилища и не будут обеспечены средства для поддержания в них чистоты и порядка.

Позволим себе заметить, что этот, наименее существеннейший из вопросов земного бытия, поднимается нами не впервые. Задолго до того,

как увидел свет этот наш журнал, мы систематически стремились заставить литературу служить благородному делу обличения жалкого, убогого и вместе с тем вполне предотвратимого состояния, в котором живут огромные массы людей. Мы неустанно выражали нашу почерпнутую из жизни уверенность в том, что прежде каких бы то ни было иных реформ следует провести реформу в области жилья и что без этой реформы все прочие обречены на провал. Ни религия, ни просвещение не двинутся вперед в этом девятнадцатом столетии христианской эры, покуда наше христианское правительство не выполнит первейшую свою обязанность и не предоставит народу жилища, годные для жизни, вместо тех зловонных лачуг, в которых он ютится сейчас.

Разумеется, всякому мало-мальски смышленому рабочему человеку совершенно ясно, что проблема была бы решена, если бы только парламент искренне этого захотел и посвятил бы ей одноединственное заседание. А в том, что ни правительство, ни парламент сами по себе пальцем не шевельнут, чтобы спасти его жизнь, он может легко убедиться. Пусть он поинтересуется, какие меры были приняты кабинетом или парламентом для улучшения условий работников и их семей со времени последней вспышки холеры пять лет назад? Пусть спросит, много ли внимания уделило правительство вопросу о положении рабочего сословия, много ли членов парламента присутствовало во время обсуждения этого вопроса — я не говорю о том вечернем заседании, которое состоялось нынче в августе, когда вопрос перешел на личности и сделался предметом шуток и когда лорд Сеймур, член палаты лордов от Тотнеса, доказал свое право вершить государственные дела умением острить — а публика при этом смеялась! — по поводу неистовствовавшего в то время страшного мора. Ознакомившись с этими простыми фактами, рабочий должен понять, что если он не поможет себе сам, ему никто не поможет, его оставят погибнуть в неравном бою с болезнью и смертью. Поэтому он должен все свои силы направить на то, чтобы устранить эту чудовищную несправедливость и хотя бы на время забыть все прочие общественные проблемы, ибо все они — песчинки по сравнению с этой. Драгоценное право отдать свой голос лорду Такому-то (например, Сеймуру) или лорду Джону Другому; состояние умственного развития в Абиссинии; основание университета в Мейноте; пошлина на бумагу; пошлина на газету; пять процентов; двадцать пять процентов. Он должен забыть

всю эту чепуху, которой ему пускают пыль в глаза. Из-за этой пыли ему подчас уже не виден собственный очаг, и только ангел смерти своими крылами может ее развеять. Следует отбросить все, что отвлекает от цели, и не переставая твердить лишь одно: «Ночью и днем я и моя семья, все мы дышим отравленным воздухом. Уродливое развитие, преждевременная дряхлость — вот удел тех, кто мне дороже жизни. Я рождаю на свет детей, которых Творец в своем милосердии предназначил для жизни, а они гибнут, претерпев неслыханные муки. Прелесть и красота, свойственные младенческому возрасту, сокрыты от моих глаз, ибо я вижу на коленях изможденной матери всего лишь сгусток недугов и страданий. Попранное человеческое достоинство из-за отсутствия простейших удобств, а ведь они-то и отличают человека от животного, — вот все мое наследство. И таких семей, обреченных служить пищей для страшных недугов — десятки тысяч». Пусть рабочий вспомнит, что он рожден Человеком, пусть он решит: «Я больше не согласен терпеть такое, я положу Этому конец!»

Теперь, в наше время, больше, чем когда-либо, рабочие люди — если только они останутся верны себе и друг другу, могут рассчитывать на заслуженное сочувствие общества и готовность прийти к ним на помощь. Весь наш могущественный средний класс, заново пробужденный голосом совести, — гораздо более убедительным, смеем сказать, нежели низменные доводы самозащиты и страха, — охотно их поддержит. Наша печать готова употребить все свое влияние, чтобы помочь им. Но для того, чтобы это движение оказалось непобедимым, оно должно исходить от них самих, от страждущих масс. Первый шаг должен быть сделан ими, они должны обратиться к среднему сословию, и тогда оно пойдет им навстречу всей душой! Пусть рабочие люди столицы и всех наших больших городов приложат весь свой ум, всю свою энергию, используют свою многочисленность, свою способность к единению, свое терпение и упорство для достижения одной-единственной цели. Тогда к рождеству они увидят на Даунинг-стрит правительство, а рядом, в палате общин, представительство, не имеющие ни малейшего фамильного сходства с холодной бездарностью, которой покуда славится все это сонное царство.

Только оказав давление на правительство и можно вынудить его исполнить свой первейший долг — исправить страшное зло, которое представляют собой нынешние жилища бедных. Конечно, с помощью специального ведомства по охране здоровья можно достигнуть много-

го, но этого многого очень мало. Нужны деньги, нужны сила и власть, которые заставили бы мелкие интересы отступить перед интересами общества, которые обрушились бы на невежд, упорствующих в косности, которые ввели бы соответствующие законы и наказывали бы всех, кто, угрожая общественному здоровью, нарушает их. Если рабочие, объединившись со средним сословием, решились бы во что бы то ни стало добиться таких законов, то даже всемогущая великобританская волокита не в состоянии была бы помешать их установлению.

Совершенно очевидно, что, если бы такое объединение было достигнуто, значительно сократился бы, а в конце концов и совершенно исчез скорбный перечень бедствий, порожденных недопустимой и жестокой небрежностью, которая обнаружилась во время последнего (и увы, не первого!) мора. Впрочем, благотворные последствия подобного союза не исчерпались бы одним этим — взаимопонимание между нашими двумя наиболее многочисленными сословиями, установление близких и теплых отношений между ними, рост взаимного уважения и искренности, большая терпимость к чужим убеждениям — все это привело бы к таким положительным переменам, к такому плодотворному общению, что даже мы, с нашей ограниченной способностью правильно оценивать текущие события, научились бы благословлять этот тяжелый год, в который — на почве, утучненной злом,— столь пышно расцвело добро.

Мы обращаемся к рабочим людям Англии, преисполненные искренности, душевного сочувствия и горячего желания помочь им занять принадлежащее им по праву место в общей системе, ибо назначение этой системы — объединить всех, и способствовать тому, чтобы каждый мог быть счастлив в тех границах, которые проложены неизбежным различием в общественном положении людей. Пришло наконец время, когда каждый рабочий человек, опираясь на помощь и поддержку друзей, должен подняться на борьбу, на борьбу без насилия, без несправедливости, без побежденных, на борьбу, из которой победителем должно выйти все наше общество в целом.

Во многих семьях к этой зиме образовалась зияющая и невосполнимая брешь. И тем не менее мы обращаем свои слова даже к тем, кому пришлось пройти сквозь это тяжкое испытание, понести эти горькие утраты — ибо сколь утешительней стремиться спасти оставшихся в живых, нежели сидеть возле могилы со скорбным лицом!

## Примечания

<sup>1</sup> Статья опубликована в журнале Диккенса «Домашнее чтение» 7 октября 1854 г.

<sup>2</sup> Сейчас, когда ещё свежа память об ужасном море... — Речь идёт об эпидемии холеры в Лондоне, свирепствовавшей в августе – сентябре 1854 г.

<sup>3</sup> ...злополучный и некогда популярный горе-вождь, ныне доживающий свой век в сумасшедшем доме... — Диккенс имеет в виду Фергуса О'Коннора (1794-1855), главу революционного крыла чартистов, представителя так называемого течения «физической силы», редактора центрального органа чартизма «Норзерн стар» («Северная звезда»). Страдая наследственной душевной болезнью, О'Коннор в 1852 г. дважды нанёс оскорбление действием своим политическим противникам в парламенте, за что был подвергнут аресту, а позже заключён в психиатрическую лечебницу, где и умер 30 августа 1855 г.

## Некоторое сомнение во всемогуществе денег<sup>1</sup>

Еще Сидней Смит, этот умница и острослов, заметил, что многие англичане испытывают неизъяснимое наслаждение при одном упоминании крупных сумм и что ни с чем нельзя сравнить пафос и жирный восторг, с каким люди этой категории, рассказывая о состоянии мистера такого-то, скандируют: «Двести тысяч фун-тов». Деньги, и только деньги в состоянии вызвать подобный пафос и восторг.

Ни один сколько-нибудь наблюдательный человек не станет оспаривать точность этого наблюдения. Оно справедливо, какое бы сословие мы ни взяли, и даже более справедливо в отношении благородного сословия, нежели простонародья. Последний раз, когда тень золотого тельца распростерлась над нашим отечеством, кумир этот был водружен весьма высоко, и подлость, с какой вся Белгравия<sup>2</sup> лебезила перед ним и тут же за его спиной насмеялась над ним, превосходит все, что делается в Сэвен Дайелс<sup>3</sup>.

Впрочем, я не намерен писать проповедь на эту вековечную тему культа денег. Я хочу лишь сказать несколько слов об одном из видов злоупотребления деньгами, который является следствием преувеличенного представления об их всемогуществе и, на мой взгляд, представляет собой симптом недуга, характерного для нашего времени.

Представьте себе какого-нибудь князя, правящего своими владениями столь неразумно и бестолково, что его подчиненные терпят всевозможные лишения, от которых их, впрочем, легко можно было бы избавить. Представьте далее, что князь, по характеру своему — человек весьма щедрый, и всякий раз, когда обнаруживает, что его управляющий, по жестокости, либо по глупости, кого-либо притесняет, выдает пострадавшему денежное пособие. Представьте себе, что широкий этот жест совершенно успокаивает нашего благородного князя, что его снова охватывает состояние довольства собой и всем светом и что, выполнив свой долг, как он его понимает, князь даже не думает распорядиться так, чтобы устранить возможность повторения подобных обид в будущем. Представим себе, будто князь этот совершал подобное изо дня в день и из года в год, что он ставил денежные заплатки на проломленные черепа, деньгами же залечивал душевные раны, и при всем том даже не задумывался, отчего кругом столько проломленных черепов и душевных ран и как сделать, чтобы их не было. Мы, вероятно, все согласимся на том, что княжество было по-

рядком запущено, что сам князь — лентяй, что ему следовало бы проявлять меньше щедрости и больше справедливости и, наконец, что, успокаивая свою совесть столь легким способом, он поддался ложному взгляду на всемогущество денег и употребление, какое надлежит из них делать.

А не уподобились ли мы, английские граждане, сему воображаемому неразумному князю? Попробуем разобраться.

Примерно год назад в Виндзоре состоялся военный суд, чрезвычайно взбудораживший общественное мнение, и не потому даже, что процесс велся в духе, никоим образом не отвечающем распространенному предрассудку в пользу справедливости, а потому, что процесс обнаружил серьезнейшие изъяны в нашей военной системе и показал, как плохо обучены наши офицеры сравнительно с офицерами других держав. Приговор, который был вынесен, повсеместно признавался нелепым и несправедливым. Что же мы, несогласные с приговором и убежденные в своей правоте, как же мы поступили? Когда вскрылась вся непригодность системы, какие шаги предприняли мы к ее исправлению? Пытались ли напомнить нашим соотечественникам, что система эта в ее настоящем виде таит величайшую опасность для них самих и для их детей? Указали ли, что, противодействуя властям, придерживающимся этой системы, поддаваясь на уговоры, уступая под давлением угроз, мы тем самым подвергаем опасности весь наш общественный строй, рискуем лишиться той самой национальной свободы, которой так гордимся, и что Англия может потерять положение, которое она занимает в семье государств? Напомнили ли беспечным и легкомысленным согражданам о том, что сделали для нас в свое время наши славные предки, чего они для нас добились благодаря своему несокрушимому духу, какие права закрепили за нами благодаря своему упорству и рвению? Пытались ли показать, как мы с каждым часом — оттого, что дело у нас превратилось в игру, — теряем завоеванное предками? Объединились ли мы в многочисленный отряд, имеющий твердую цель: внушить эти принципы тем, кто взял на себя ответственность править страной, и заставить их признать наши исконные права и строго, повсеместно, во всех существенных областях управления Британской Империи придерживаться этих принципов? Нет. До этого дело не дошло. Мы испытывали сильное негодование и легкую тревогу. Под бременем этих двух эмоций мы даже затосковали. Но вот мы облегчили всколыхнувшуюся совесть и дали жертве несправедли-

вого суда денег! Мы сунули руку в карман, выудили из него пятифунтовую бумажку и таким образом исполнили свой долг. Беду поправили, и страна успокоилась. Сумма, которую собрали, превышала две ты-ся-чи фун-тов, сэр!

Допустим, эти деньги пошли на святое дело. Допустим, что лицо, которому их вручают, в подобных случаях ничего не проигрывает, что в результате такого доброхотного даяния в нем развивается самоуважение, независимость и предприимчивость. И все же, как один из участников подписки, я позволю заподозрить себя в том, что я и в малой степени не выполнил своего гражданского долга. Что я просто откупился от трудной задачи, которая стояла передо мной, что я вместе со всеми пошел на убогий компромисс, подменивший песком скалу, на которой было заложено наше королевство. Что я повинен в пошлом преклонении перед деньгами в глубине души исповедуя низменную веру в их всемогущество.

Возьмем другой случай. Два работника посреди дня оставляют свою работу (после предварительного соглашения об этом, причем в качестве компенсации они в тот день пришли на работу раньше обычного) и отправляются смотреть театральное обозрение. Обозрение это усердно рекламировалось как в высшей степени патриотическое и лояльное зрелище. В соответствии с каким-то глупым старым законом, которого никто, кроме такого же глупого сельского судьи, вспоминать бы не стал, работников потащили в суд, и эти бробдиньякские ослы<sup>4</sup> отправили их в тюрьму,— кстати сказать, не имея на то никаких законных оснований,— но не об этом сейчас речь. Поблизости оказалось некое неблагонадежное лицо, которое сочло нужным обнародовать эту нелепую жестокость, другие неблагонадежные лица, прослышав о ней, принялись громким ропотом выражать свое удивление и возмущение. Обращаемся к министру внутренних дел, но он «не видит смысла» в том, чтобы отменить решение суда, да и не могло быть иначе: ведь он никогда не видит и не слышит смысла, и все, что исходит из уст его, лишено всякого смысла. Каков же наш следующий шаг? Может быть, мы собрались все вместе и решили: «Нельзя, чтобы в наше время в народе думали, будто дух закона направлен против него. Нельзя оставлять такое страшное оружие тем, кто вечно будоражит и мутит народ. Поведение этих судей — вынуждает нас настаивать на том, чтобы их отстранили от должности, чтобы сословие, подвергнутое столь нелепому притеснению в лице этих двух работников,

почувствовало, что все здравомыслящие люди в нашей стране возмущены этим безобразием. Более того, надо приложить все силы к тому, чтобы судей, подобных этим, не облакали полномочиями, а чтобы те, кто этими полномочиями будут облечены, пользовались своей властью в рамках благоразумной умеренности. И что же? Мы приняли такое решение? Да нет! Как же мы поступили? А вот как: собрали денег для пострадавших, и... дело с концом!

Еще один случай. У крестьянина небольшое поле, на котором он возвращает пшеницу, и вот он отправляется жать в воскресенье, потому что иначе пропадет его крошечный урожай. За сей смертный грех его тоже призывают к сельскому судье, отпрыску плодового семейства Шеллоу<sup>5</sup>, и присуждают к штрафу. Тут-то, казалось бы, нам возмутиться, проявить наконец решимость и вырвать законопроизводство и народ из рук этих Шеллоуев. Где там! Слишком много беспокойства, у нас своих дел хватает, и к тому же нас всех слегка отвращает мысль о какой бы то ни было возне. И вот мы снова опускаем руку в карман, и пусть обветшалые законы совместно с вечно молодыми Шеллоуями тянут нас куда угодно!

Как мы уже рассказывали на страницах нашего журнала, введение даже такого убогого закона, якобы предусматривающего защиту женщины, по которому гнуснейшее преступление на свете наказывается шестью месяцами заключения, было встречено криками ликования. По одному этому можно судить о юридическом уровне нашей цивилизации. Бессилие закона — и как следствие этого бессилия — частое нарушение его — сделались притчей во языцех. Что же? Пытаемся ли мы как-нибудь помочь делу? Настаиваем ли на введении более сурового наказания? Исследуем ли условия жизни, которые каждый такой случай вскрывает, и заявляем ли открыто, что огромные массы людей опустились, погрязли в пороке, и что (среди прочих мер) необходимо предоставить им возможность развлекаться более облагораживающим образом, и тогда они перестанут искать забвения от своей страшной жизни в кабаке? Говорим ли наконец о том, что они нуждаются в развлечениях, свободных от навязших в зубах назиданий, и что самый Мальборо-Хаус может представляться кошмаром для великого множества этих людей, которые тем не менее исправно платят налоги и обладают бессмертными душами? Когда же мы перестанем закрывать глаза на суть дела, когда найдем в себе мужество сказать: «Все эти люди — мужчины, женщины и дети — живут в нечеловеческих усло-

виях, и при нынешнем порядке вещей мы в самом деле не представляем себе, как могут они проводить свое свободное от работы время иначе, чем они его проводят обычно — шатаясь бог знает где, напиваясь до безобразия и затеывая ссоры и драки?» Всякий, кто знаком с истинным положением дел, знает, что все это — святая правда. Но мы, вместо того чтобы настаивать на этой правде, посылаем в облегчение участи очередной жертвы злодея, только что не умиртвившего ее, — посылаем ей на адрес полицейского суда пять шиллингов марками, а сами, приложив к своей чахлой совести этот липкий пластырь из шестидесяти портретов английской королевы, отправляемся в ближайшее воскресенье слушать церковную проповедь.

Впрочем, оказывается, не одни мы, простые смертные, имеем низость прибегать к деньгам как к целебному бальзаму на все случаи жизни. Наши вожди, несущие знамя, за которым мы следуем, показывают нам пример, поступая точно таким же образом. Не так давно был День Благодарения, и в памяти у всех должно быть свежи объявления, появившиеся в ту пору в газетах о наиболее выгодных вкладах для спасения души. Авторы этих объявлений, да и все это сребролюбивое племя, публикующее свои красноречивые и благопристойные призывы, ни на минуту не сомневаются в том, что благодарные чувства следует выражать посредством денег. Если мы желаем одержать еще одну победу, то мы не можем надеяться заполучить ее бесплатно или хотя бы в кредит, — нет, подавай наличные! Нам предлагали оплатить новый орган в церкви, треуголку и алые панталоны церковного сторожа, купленные ему в рассрочку старостами, счета маляров и стекольщиков, которые привели в порядок часовню, — и взамен протягивали билет, обеспечивающий место по ту сторону Севастополя<sup>6</sup>.

И мы платили денежки — и получали взамен билет. Кто из нас не раскошеливался! Мы уплачивали недоимку за церковный орган, оплачивали счет за треуголку и панталоны сторожа, погашали задолженность маляру и стекольщику, и считали, как говорится, что с нас больше и спросу нет.

Многие из нас расставались со своей мелочью так легко лишь потому, что предпочитали платить этот своего рода штраф, только бы ничего не делать. А дело, которое требовалось от нас, было трудным. Всеобщий паралич охватил мозг и сердце страны; фаворитизм и рутинна проникли повсюду, истинные достоинства ни во что не ставились. Небольшая группа людей лишила нас силы и обратила ее в слабость, а

три четверти земного шара с интересом воззрились на это замечательное зрелище. В эту критическую пору от нас требовалось одно: твердо стоять за явную правду и бороться с явной неправдой. Но подобная деятельность требует некоторого усилия, джентльмену не подобает ей предаваться, она противоречит хорошему тону; и вот мы с радостью платим штраф.

Но если бы все, кому полагается служить в армии, платили бы штраф, вместо того чтобы идти в солдаты, страна осталась бы без защитников. О мои соотечественники, есть войны, в которых сражаются не солдаты, войны, которые между тем столь же необходимы для защиты родины, войны, в которых призван участвовать каждый! Деньги — великая сила, но и они не всемогущи. Если бы сложить пирамиду из денег, которая бы своей вершиной достигала самой луны, то и она не заменила бы собой ни одной крупички гражданского долга.

### Примечания

<sup>1</sup> Статья опубликована в журнале Диккенса «Домашнее чтение» 3 ноября 1855 г.

<sup>2</sup> Белгравия – аристократический квартал в Лондоне.

<sup>3</sup> Сэвен Дайелс – район трущоб Лондона.

<sup>4</sup> Бробдиньякские ослы. – Бробдиньяк – страна великанов в «Путешествиях Гулливера» Свифта.

<sup>5</sup> Шеллоу – судья, персонаж комедии Шекспира «Виндзорские кумушки» и трагедии «Король Генрих IV» (часть II).

<sup>6</sup> ...билет, обеспечивающий место по ту сторону Севастополя – то есть место на дне Чёрного моря, поскольку союзники осаждали Севастополь с суши.

## Уильям Теккерей

### Парижские письма<sup>1</sup>

Париж, суббота, 29 июня, 1833 г.

Надо признаться, что образцовейшая в мире газета — «Национальный стандарт»<sup>2</sup> — носит весьма нелепое, невыразительное и лишнее смысла название. «Национальный стандарт» — да что же это такое? Так можно назвать и газету, и меру бренди, стяг короля Уильяма и знамя короля Кобетта. Не лучше ли последовать примеру французских газет и выбрать заголовок поприметней, подумали мы, узнав о новой газете, которая скоро начнет выходить в Париже:

«Некролог. Журнал смертей». Этот прелестный заголовок, полный романтики и меланхолии, как нельзя более подходит для сентиментальной газеты, на титульном листе которой изображена погребальная урна, а все страницы обведены красивой траурной каймой. О, смерть! О, жизнь! О, *jeime France*<sup>3</sup>, какой триумф изысканности и искусства!

Вообразите, что каждое утро к завтраку вы получаете: «Траурную смесь», «Листок гробовщика», «Саван и кости», «Погребальный вестник» «Заступ, или Спутник могильщика», откуда узнаете о самых фешенебельных кончинах, убийствах, самоубийствах и смертных казнях в Европе. Сколь приятное занятие читать эти повременные издания для впавших в меланхолию молодых людей и чувствительность юных леди! К тому же оно и познавательно, и в то же время душещипательно, а кроме того (как говаривал Фигаро), при жизни ты абонент, а после смерти клиент.

Ноябрьские самоубийства у нас на родине — главный источник вдохновения французских юмористов; они убеждены, что Лондонский мост только для того и построен, чтобы с него бросались в Темзу, а фонарные столбы расставлены на улицах нашей столицы вместо виселиц; в действительности же, подобному употреблению фонарных столбов мы научились у французов; да и по части самоубийств первенство, несомненно, принадлежит им. Чуть ли не каждое утро с полдюжины молодых людей «*asphixient*» {Отравляются газом (франц.).} себя, и тот же путь к успокоению обычно избирают малодушные и неимущие служанки, почитая его наиболее легким, скорым и надежным. Мне рассказывали, как некий солидный джентльмен, уже до-

стигший своего шестнадцатилетия, и другой еще более пожилой, родившийся двумя годами раньше, оборвали свое земное существование, удушив себя угаром. Незадолго до этого они совместно написали драму, которая была с успехом представлена в Порт-Сен-Мартен, чем, по всей видимости, снискали себе несколько десятков франков и обесмертили себя (на пять-шесть вечеров) — предел честолюбивых, а также всех других мечтаний обоих драматургов. Упоенные успехом, наши юные мудрецы решили уйти из жизни, находясь в зените славы и блаженства. Предполагалось, разумеется, что сей последний подвиг своей возвышенностью окончательно причислит их к лику бессмертных.

Способ, к которому они прибегли, не накладен — двух пенсов вполне достаточно, чтобы отправить на тот свет несколько сот молодых поэтов, — запасшись смертоносным топливом, они взобрались на свой седьмой этаж, отгородились от мира и заперли окна. Когда спустя несколько часов дверь наконец взломали, души их вылетели вместе с дымом, и в комнате осталось только два трупа; уделом публики было восхититься ими и позаботиться о похоронах. Романтические французы оросили покойников слезами; у нас на родине им бы, пожалуй, досталось по доброму колу на брата. Но мир их праху!

Я ничуть не сомневаюсь, что к этому времени они уже весьма уютно расположились в той части небес, где встретят Катона, Аддисона, Юстаса Баджелла<sup>4</sup> и прочих склонных к самоубийству философов; а рано или поздно Листона<sup>5</sup>, Тальма<sup>6</sup> и всех великих трагиков.

Мне захотелось узнать фамилии бедняг и название их трагедии. Но мой рассказчик забыл и те и другое. Вот продолжительность славы.

Театры процветают; каждый из них радуется в этом сезоне публике какой-нибудь блистательной новинкой. В «Амбигю Комик» идет назидательное представление «Валтасаров пир»<sup>7</sup>. Во втором акте нашему взору предстает великое множество унылых сынов Израиля, которые расселись вокруг вод вавилонских, повесив арфы на ивы! «Спойте нам одну из песен Сиона», — обращается вавилонянин к корифею хора. «Как же нам петь в чужой земле?» — отвечает хор. Сама пьеса — постыдная пародия на Библию — насквозь проникнута французским духом и французскими же представлениями о приличиях.

Позади меня расположилось какое-то многодетное семейство, все члены которого с большим интересом созерцали поучительную сцену выхода царицы из ванны.

Спектакль завершается великолепной имитацией картины Мартина «Валтасар».

А в «Порт Сен-Мартен» идет пьеса «Бергами», в которой оживает другое полотно — хэйтеровский суд над королевой Каролиной<sup>8</sup> в палате лордов. Сегодня утром пронесся слух, что из Англии прислан специальный курьер, чтобы добиться запрещения спектакля. Заключив отсюда, что в пьесе содержится нечто ужасное, я направился в «Порт Сен-Мартен» и был жестоко разочарован, не обнаружив в ней ничего, кроме пресного платонического диалога между ангелоподобным Бергами и угнетенной королевой<sup>9</sup>. В начале пьесы Бергами — простой рассыльный, но, покоров королеву своими меткими замечаниями о погоде, природе и итальянской политике, он тут же становится ее конюшим. В конце первого акта королева садится в карету. Во втором акте ее величество погружается на пакетбот (ох уж эти пакетботы!), в третьем — сидит на балконе, в четвертом — погружается в пучину страстей, что не так уж опасно, поскольку Бергами уже убит к тому времени лордом Эшли (мы приносим его милости свои искренние поздравления), и королеве остается лишь отправиться в палату лордов, дабы пожаловаться там на этот неучливый поступок. Сцена, скопированная с картины, поражает естественностью и живостью. Сэр Бруэм<sup>10</sup> произносит речь об угнетении женщин, патриотизме и пр., лорд Эддон<sup>11</sup> возражает ему; министры рукоплещут, оппозиция трепещет, и в палату лордов величественно вливается королева, кланяясь налево и направо и изрекая благороднейшие сентенции. Внезапно с улицы доносится тревожный шум: толпа восстала на защиту королевы! Лорд Эддон делает знак военному министру, тот бросается усмирять мятежников, королева спешит вслед за ним, но их усилия тщетны, летят камни, звенят разбитые стекла, лорд Эддон исчезает, сэр Бруэм устремляется вперед, а лорд Ливерпуль (дородный мужчина в белом жилете и с огромной жестяной звездой) валится наземь, сраженный сокрушительным ударом: обломок кирпича, пущенный кем-то из рогатки, угодил прямо в живот его светлости; и падение занавеса, разумеется, совпадает с падением премьер-министра. Тут французская публика, воспарив духом до невиданных высот, начинает громко требовать Марсельезу! Я не смотрел пятого акта, где отравляют коро-

леву (снова лорд Эшли!), ибо вернулся домой, дабы написать об этой удивительной трагедии.

Мне бы хотелось написать еще об одной пьесе, которая заслуживает не в пример больше внимания, чем обе предыдущие. Это «Дети Эдуарда» мсье Казимира Делавиня<sup>12</sup>, один из лучших спектаклей, которые мне когда-либо посчастливилось видеть, но мне придется сделать это в другой раз, ибо письмо мое и без того уже получилось слишком длинным. Впрочем, я не удержался и набросал эскиз Лижье в роли Ричарда (Рисунок был напечатан в «Национальном стандарте» вместе с письмом. К сожалению, мы не можем воспроизвести его здесь. — Изд.), — мне кажется, что он затмил самого Кина, — который посылаю вам.

А кроме Лижье, в спектакле участвует восхитительная мадемуазель Марс<sup>13</sup>, и эта очаровательная, грациозная, веселая «энженю», мадам Анаис Обер. Нашим актерам следовало бы побывать в Париже и ознакомиться со здешней превосходной театральной школой; даже Куперу<sup>14</sup> такое знакомство пошло бы на пользу, а Диддиэра оно наверняка сделало бы и умнее и лучше. Не достаточно ли уже о театрах, пожалуй, скажете вы; но, в сущности говоря, разве эта тема не столь же серьезна, как все остальные?

Париж, 13 июля.

Рисунок наверху {Рисунок, изображающий Наполеона на Вандомской колонне, был помещен в «Национальном стандарте» перед этим письмом. — Изд.} изображает статую, которая вскоре украсит собой колонну на Вандомской площади. Как всем известно, это должно произойти 29-го числа сего месяца, однако его величество король французский, питая отвращение ко всевозможным бунтам и расходам, распорядился воздвигнуть ее тайно и в ночную пору, дабы избежать излишней гласности и нежелательных эксцессов, могущих при том произойти.

Статуя перелита из бронзовой или медной австрийской пушки (как видите, некоторые трофеи Наполеона французам все же посчастливилось сохранить) и изображает маленького капрала в военном облачении. До 1814 года на колонне возвышалось изображение императора Наполеона в мантии и со скипетром; на постаменте же было начертано следующее звучное посвящение:

Neapolio Imp. Aug.  
Monumentum Belli Germanici  
anno MDCCCV  
Trimestre spatio profligati  
ex aere capto  
Glorie exercitus maximi dicayit<sup>15</sup>

В 1814 году надпись замазали, а статую сбросили с колонны, водрузив вместо нее грязный белый флаг, казавшийся весьма недостойным завершением длинного перечня побед, выдолбленного на колонне и обвивающего ее сверху донизу. Ведь не для того же, чтобы вернуть на место вышереченный белый флаг, было дано столько сражений и одержано столько побед.

Однако же на будущей неделе Наполеон вторично взберется на колонну. По этому поводу ему, разумеется, следует сказать небольшую речь, которая прозвучит примерно так.

Поднеся к глазам тяжелую (бронзовую) подзорную трубу и обведя тяжелым взглядом толпы слушателей, император начинает:

«Уважаемые дамы и господа!

(Бурные аплодисменты.)

Не имея привычки к публичным, выступлениям и будучи обуреваем сейчас всем вам понятными чувствами, которые задевают самые сокровенные струны моей души, я, к сожалению, не смогу блеснуть красноречием, достойным такого события и такой аудитории.

Дамы и господа! Это счастливейший миг в моей жизни!

(Рукоплескания и крики «браво».)

Я приношу вам благодарность за то, что вы предоставили мне столь возвышенное, удобное и безопасное место. Отсюда виден мне почти весь город: пустые храмы, переполненные тюрьмы, битком набитые игорные дома. И, созерцая все это, и вас, господа, как не гордиться мне тем, что я француз.

(Бурные рукоплескания.)

Трехцветный флаг развевается над Тюильри, точь-в-точь, как в мои времена. Французам радостно, наверное, вновь увидеть свое славное знамя на месте старого белого флага, изгнанного на веки вечные. И хотя, говоря по совести, я не усматриваю никаких иных преимуществ, исторгнутых вами в борьбе со свергнутой династией, вам, разумеется, виднее.

Толстяк с зонтиком {Неуважительный личный выпад Наполеона против короля Луи-Филиппа, чья дородная фигура и зонтик были изображены месяца два назад в нашей газете.}, прогуливающийся по парку Тюильри, по всей очевидности, новый хозяин. Могу ли я узнать, за что он так возвышен вами? За собственные ли заслуги или за отцовские?

(Крики и беспорядочная свалка в толпе. Полицейские начинают сотнями *emproigner*<sup>16</sup> присутствующих.)

Продолжайте в том же духе! — восклицает изваяние, великий дока по части экспромтов. — В том же духе, счастливыцы французы! Вы боролись, вы сражались, вы побеждали — для кого? Ну, разумеется, для толстяка с зонтиком.

Нет нужды объяснять, каковы были бы мои намерения и цели, если бы мне посчастливилось остаться среди вас. В свое время вы отнесли к ним благосклонно. Зато остальная часть Европы придерживалась иного мнения и выразила его столь настойчиво, что из одной лишь вежливости нам пришлось уступить.

Признаюсь, я был несколько своенравен и деспотичен. Но не таков ли и наш тучный друг из Тюильри? Так что же лучше: благоговеть перед героем или покориться ростовщику? Быть сраженным мечом или сбитым с ног зонтиком?

(Здесь раздается мощный рев: «A bas les Paraplnes!»<sup>17</sup> Аресты все еще продолжают.)

Если бы не боязнь утомить вас (крики: «Продолжайте!»), я бы сказал несколько слов и о тех, кто так упорно добивался моей отставки и вместе с ней возможности вновь вывесить белую тряпку, снятую нынче на вечные времена.

В России душат, убивают, ссылают. Я не мог бы изобрести для них более подходящего занятия.

У Англии 800 000 000 фунтов стерлингов долга, старые учреждения разрушены, новых нет и в помине (здесь полиция опять уводит с площади целую толпу слушателей). Примите мои поздравления, господа, полицейские есть и у них {Нам кажется, что в данном случае изваяние позволило себе явную бестактность.}.

В Португалии идет драка из-за двух в равной степени ненавидимых братцев<sup>18</sup>. Да хранят небеса правого, кто бы им ни оказался.

Из Италии приходят захватывающие сообщения о мятежах и неизбежно связанных с ними казнях.

Немцы, от нечего делать, стали арестовывать студентов. Испанцы развлекаются потешными боями, вот жалость-то, что их нельзя побаловать настоящими!

А августейшее семейство, в жертву которому принесено чуть ли не пятьсот тысяч человеческих жизней — чем занято оно? Король впал в детство; умалишенного дофина содержат в каком-то «шато» в Германии; все внимание герцогини целиком посвящено сыну и дочери!

И сами вы, господа, — вы получили свободу печати, но на газеты — в точности, как и при мне, каждое утро налагают арест. У вас республика, но упаси вас боже неуважительно отозваться о короле! То же самое было и в мое время. Вы свободны, но для того чтобы держать вас в узде, для вас построено семнадцать крепостей. А такого уж, кажется, и при мне не было.

И вообще в Европе предостаточно угроз, изгнаний, ссылок, убийств, налогов, виселиц. Судя по вашему молчанию...»

Внезапно император умолкает; дело в том, что на Вандомской площади не осталось ни одного человека, — всех до единого увела полиция.

## Примечания

<sup>1</sup> Статья «Парижские письма» (Foreign Correspondence) была напечатана в газете «Национальный стандарт» в июле 1833 года.

<sup>2</sup> «Национальный стандарт». — Теккерей высмеивает название газеты, иностранным корреспондентом которой был он сам. Газета просуществовала недолго, поглотив вложенные в нее Теккереем средства.

<sup>3</sup> «Молодая Франция». — Так называлась группа молодых писателей и поэтов, объединившаяся под эгидой Виктора Гюго и боровшаяся в тридцатые годы 19 века под знаменем романтизма против эпигонов классицизма.

<sup>4</sup> «...Катона, Аддисона, Юстаса Баджелла и прочих склонных к самоубийству философов. — Катон Утический (95-46 гг. до н. э.), — римский сенатор и полководец, покончил с собой после того, как его войска потерпели поражение. Баджелл (1686-1737) — английский юрист и литератор, сотрудничавший в «Зрителе» Аддисона, запутавшись в денежных делах, утопился в Темзе.

<sup>5</sup> Листан Джон (1776-1846) — английский актер, с большим успехом исполнял комические роли.

<sup>6</sup> Тальма Франсуа-Жозеф (1763-1826) — знаменитый французский трагик.

<sup>7</sup> Валтасаров пир. — Библейская легенда рассказывает о том, как вавилонский царь Валтасар увидел во время пира кровавые письмена на стене и в ту же ночь был зарезан своими телохранителями. Этой легенде посвящено стихотворение Генриха Гейне «Пир Валтасара».

<sup>8</sup> Хэйтеровский суд над королевой Каролиной. — Одна из лучших картин художника Джорджа Хейтера (1792-1871), придворного портретиста королевы Виктории.

<sup>9</sup>...кроме пресного платонического диалога между ангелоподобным Бергами и угнетенной королевой. — Бергами, итальянец, был фаворитом жены английского короля Георга IV Каролины Брауншвейгской (1768-1820). Еще будучи наследником престола, Георг обвинил ее в неверности, а по восшествии на престол в 1820 г. отказал ей в коронации и затеял против нее процесс в палате лордов, скандальность которого вызвала резкие протесты публики. Вскоре после прекращения суда Каролина умерла (по некоторым данным, она была отравлена).

<sup>10</sup> Сэр Бруэм (лорд Генри Бруэм; 1778-1868) — английский политический деятель и публицист. Участвовал в парламентской реформе 1832 г. и основании Лондонского университета (1827 г.). Теккерей резко критикует его беспринципность и тщеславие в статье об изданных в 1839 г. «Письмах лорда Бруэма».

<sup>11</sup> Лорд Эддон Джон Скотт (1751-1838) — первый лорд Эддон, английский политический деятель, лорд-канцлер с 1801 по 1806 и с 1807 по 1827 гг.

<sup>12</sup> Делавинь Казимир (1793-1843) — французский поэт и драматург.

<sup>13</sup> Марс Анна-Франсуаза-Ипполита (1779-1847) — выдающаяся французская актриса, прославившаяся исполнением ролей в комедиях Мольера и Мариво.

<sup>14</sup> Купер Джон — актер, пользовавшийся большим успехом на сцене лондонских театров с 1820 по 1858 г.

<sup>15</sup> Наполеон, император Август, воздвигнул этот памятник германской войны, заверченной в трехмесячный срок в 1805 году, отлитый из завоеванной меди, во славу великой армии (лат.).

<sup>16</sup> Хватать (франц.).

<sup>17</sup> Долой зонтики! (франц.)

<sup>18</sup> В Португалии идет драка из-за двух в равной степени ненавидимых братьев. — После отделения Бразилии от своей метрополии король Иоанн VI в 1826 г. оставил за собой бразильскую корону, а португальский престол передал своей дочери Марии. Однако братья Иоанна, дон Педро и дон Мигель, подняли в стране гражданскую войну за овладение престолом, которая продолжалась до воцарения Марии в 1838 г.

## «Польский бал» в изложении одной светской дамы<sup>1</sup>

«Отсутствие лейб-гвардии, выступившей в это время против толпы, огорчило многих прекрасных дам, бывших на балу у Уиллиса<sup>2</sup> в понедельник вечером». — «Морнинг пэйпер».

Лайонель де Бутс<sup>3</sup>, сын лорда и леди де Бутер-стаун, был одним из самых элегантных молодых людей своего (да и не только своего) времени и своей (да и не только своей) страны. Он был высок и строен, хорош собой, и хотя ему было не более восемнадцати лет, он необыкновенно грамотно писал и успел уже отрастить прелестную светлую бородку!

Лайонель был образцом всяческого совершенства; с детства окруженный нежной и неусыпной материнской заботой, он был наделен всеми возможными добродетелями и лишен отвратительных пороков, столь свойственных юности. Он никогда не выпивал более трех стаканов вина и, будучи истинным Нимродом<sup>4</sup>, отправляясь на охоту, никогда, по словам его дорогой мамы, не курил этих ужасных сигар. Он был зачислен офицером в королевский полк «Розовых драгун» (под командованием полковника Гизара) и, по назначению, был представлен своему королю в день рождения его величества. Любящая мать прижала закованного в броню воина к своей груди и оросила материнскими слезами сверкающую кирасу, отразившую ее собственный прелестный лик.

Но было еще одно женское, исполненное невинности сердце, замиравшее при мысли о молодом Лайонеле. Досточтимые граф и графиня Хардибэк давно решили, что их дочь, прелестная Фредерика де Гоффи (чье появление при дворе в этом году привело всех в бурный восторг) в один прекрасный день обвенчается с блестящим наследником дома де Бутс.

Когда Лайонель появился в своем восхитительном новом мундире в Аликампейн-хаусе, Фредерика чуть не лишилась чувств от радости.

— Меня призывает мой воинский долг, — изрек сей доблестный молодой человек со вздохом. — Но мы очень скоро снова встретимся. Не забудьте, что вы обещали мне кадрили на польском бале.

— Au revoir — adieu!

Переполюнявшие юного воина чувства помешали дальнейшим излияниям, и он поспешил оставить чертоги Любви и присоединился к своему полку в Н-тсбр-дже.

Вечером, когда розовые драгуны королевской конной лейб-гвардии сидели в палатках и пили за здоровье дам своего сердца, пришло известие от главнокомандующего, что Англия нуждается в помощи своих воинов. Восстали чартисты! Они восстали с оружием в руках<sup>5</sup> в Кларкенуэле и Пентонвиле. «На коней!» — воскликнул доблестный Гизар, осушая бокал гипокраса. «Господа розовой конной гвардии, к оружию!» Издав этот воинственный клич, Лайонель надел шишак, вернее его водрузил на золотые локоны молодого лорда преданный лакей. Вытащить меч, положиться на волю неба и пресвятого Виллибальда и вскочить на разгоряченного боевого скакуна было делом одной секунды. А еще через секунду султаны розовых драгун промчались по аллеям ночного парка, в то время как горны и скрипки оркестра оглашали парк звуками национального гимна британцев.

Мать Лайонеля позаботилась о том, чтобы комната юного солдата в казарме была обставлена со всеми удобствами. Ни одна мелочь, с помощью которой достигаются изысканность и простота, не была забыта.

— Смотри не забывай класть в ножную ванну отруби, — говорила она старому слуге, указывая при этом перстом на богато расписанную золотом и серебром ножную ванну, украшенную гербом де Бутсов.

И она собственноручно связала сыну малиновый шелковый ночной колпак с золотой кисточкой, который она упросила, — да что там упросила, — повелела ему надевать на ночь. Она представила себе, как он будет спать в своей походной келье. «Пусть мой солдат спит спокойно, — мысленно восклицала она, — пока утренний горн не разбудит моего прелестного мальчика!»

Фредерика тоже, насколько это позволяла девичья скромность, думала о своем Лайонеле.

— Ах, Кринолинетта, — говорила она своей горничной на французском языке, которым владела в совершенстве. — Ah, que ma galant garde — de vie puisse bien dormir cette nuit! {Ах, пусть мой доблестный лейб-гвардеец спит спокойно эту ночь! (искаж. франц.)}

Но Лайонелю не пришлось спать в эту ночь; молодому солдату ни на минуту не удалось сомкнуть глаз. При свете луны и звезд, всю

холодную ночь напролет и в предрассветную стужу он со своими доблестными драгунами патрулировал вдоль улицы Кларкенуэла. То он отражал натиск чартистов, то спешил на помощь к осажденному эскадрону полисменов, то врывался между разъяренной толпой и опешившими солдатами, — всюду сверкал меч Лайонеля. Его голос, подбадривающий войска и вселяющий ужас в чартистов, раздавался в самой гуще схватки. «О, если бы я мог помериться силами с Фасселом! — думал он. — Или хоть на пять минут скрестить мечи один на один с Каффи!» Но никакого сражения не произошло, розовая королевская конная лейб-гвардия вернулась на рассвете в свои казармы, и полковник Гизар послал главнокомандующему чрезвычайно лестное для молодого де Бутса донесение.

Воины не думали об отдыхе среди дня. Провести ночь в седле для солдата пустяк; однако Лайонель, предчувствуя простуду и ангину, скушал немного жидкой каши, сваренной на воде, и прилег на полчаса, чтобы несколько прийти в себя. Но он не мог спать, он думал о Фредерике! «Сегодня я увижу ее, — говорил он себе, — ведь сегодня польский бал», — и он приказал лакею достать для Фредерики в Хэммерсмите самый красивый букет розовых магнолий, нежных букиц и скромно склоняющихся головки подсолнечников.

Банкет розовой конной лейб-гвардии начался в восемь часов, и Лайонель, намереваясь отправиться сразу же после банкета на бал, надел панталоны, бальные туфли, тончайшую рубашку и повязал на шею всего лишь только кружевную ленту. Он вышел к столу подобный юному Аполлону!

Но не успел он поднести к своим алым губам ложку с *potage a la reine* {Супом по-королевски (франц.)}, как горн снова протрубил тревогу.

— Проклятье! — воскликнул благородный Гизар. — Чартисты вновь взяли за оружие, и мы выступаем!

Оставив нетронутым праздничный обед, воины вскочили на коней.

Все это произошло в такой спешке, что Лайонель так и помчался в бальном туалете, накинув поверх лишь кирасу и шлем. Что это была за жестокая ночь!

Дождь низвергался на землю, дул пронизывающий ледяной ветер, и, пока гвардия добралась до Кларкенуэла, юный солдат промок

до нитки. А в это самое время Фредерика глядела в окно у Ольмэка в ожидании Лайонеля.

Всю эту долгую ночь он провел на своем боевом скакуне, дождь лил как из ведра, ветер становился все холоднее, а презренные чартисты рассеялись, завидев наших доблестных воинов и отступили перед стальными клинками розовых драгун королевской конной гвардии. Ах, что это была за ночь!

На рассвете Фредерику привезли с бала в Аликампейн-хаус. За всю ночь она ни разу не танцевала. Она отказалась от всех самых блестящих кавалеров, потому что не могла думать ни о ком, кроме своего кавалера, своего Лайонеля, так и не приехавшего на бал! От взгляда матери не ускользнул неестественный блеск глаз и лихорадочный румянец, покрывавший щеки дочери. Укладывая ее в постель, она трепетала от ужаса и поспешила пригласить доктора Л-к-ка.

В это самое время розовая конная лейб-гвардия вернулась в казармы; ветераны были целы и невредимы, но, боже мой, что случилось с новобранцами!

Лайонель был в жару, — две ночные вылазки сломили доблестного юношу; после того как его уложили в постель, он два часа метался в бреду. «Мама, Фредерика!» — призывал он...

В прошлую субботу два катафалка, на одном из которых были возложены шлем и доспехи молодого воина и щит де Бутсов, а на другом геральдический ромб дома Аликампейн, медленно подъехали к Хайгетскому кладбищу. Лайонеля и Фредерику опустили в одну могилу! И подумать только, что всех этих несчастий могло бы не быть, если бы коварные чартисты сидели смирно по домам или если бы молодая пара принимала по двенадцати — четырнадцати универсальных «пилюль Морисона» вместо отвратительного лекарства, которым их убила медицина!

## Примечания

<sup>1</sup>Очерк «Польский бал» (A Tale of the Polish Ball) был опубликован в журнале «Панч» в июне 1848 года.

<sup>2</sup>На балу у Уиллиса. — Залы Уиллиса (ранее Залы Олмэка) на Кинг-стрит сдавались под банкеты, балы и лекции.

<sup>3</sup>Лайонель де Бутс. — Фамилия "Бутс" (по-английски — лакей) свидетельствует о далеко не аристократическом происхождении ее носителя.

<sup>4</sup>Нимрод — библейский легендарный охотник (Книга Бытия, гл. 10,8).

<sup>5</sup>Восстали чартисты! Они восстали с оружием в руках... — Английское правительство умышленно распускало клеветнические слухи о подготовке восстания чартистами. В действительности чартисты, добивавшиеся введения всеобщего избирательного права, выступали с мирными демонстрациями.

## Как из казни устраивают зрелище<sup>1</sup>

Мистер Х., голосовавший вместе с мистером Эвартом за отмену смертной казни, предложил мне пойти с ним смотреть, как будут вешать Курвуазье<sup>2</sup>, — ему было интересно, какое впечатление произведет казнь на зрителей. Мы не были в числе «шестисот родовитых и знатных господ», допущенных по распоряжению шерифа в здание тюрьмы, но вынуждены были остаться в толпе и поэтому решили как можно раньше занять места у подножья эшафота.

Я должен был встать в три часа утра и поэтому лег в десять вечера, решив, что пяти часов сна будет вполне достаточно, чтобы набраться сил для предстоящего утомительного дня. Но, как и следовало ожидать, меня всю ночь не покидала мысль о зрелище, которое мне предстояло увидеть, и я ни на минуту не сомкнул глаз. Я слышал, как отбивали время все часы в округе, как где-то поблизости во дворе жалобно скулила собака; в полночь негромко и грустно прокричал петух; в самом начале третьего сквозь шторы забрезжило серое утро; и когда наконец на полчаса мне удалось заснуть, меня разбудил Х. — захвативший за мной, как было условлено. Он поступил разумнее и не ложился спать вовсе, просидев до утра в клубе с Д. и еще с двумя-тремя приятелями.

Д. — известный лондонский шутник, — всю ночь напролет развлекал общество анекдотами по поводу предстоящего события. Поразительно, что убийство может служить неиссякаемым источником шуток. Все мы непрочь пошутить на эту тему; есть какое-то мрачное наслаждение в этом вечном противопоставлении жизни и неизбежной смерти, разделенными столь тонкой и хрупкой гранью.

Сколько же в этом огромном городе есть людей — во дворце и на чердаке, на мягкой перине или на соломе, окруженных плачущими друзьями и услужливыми докторами, или всеми покинутых и мечущихся на узких больничных койках, для которых эта воскресная ночь должна стать последней ночью в жизни.

Проворочавшись пять часов без сна, я успел подумать о всех этих людях (и еще немного о том высшем часе, который рано или поздно неизбежно наступит для пишущего эти строки, когда он будет распростерт на смертном ложе, обессиленный последней борьбой и в последний раз глядя на милые лица, радовавшие его в этом мире, и медля еще какой-нибудь лишней миг, прежде чем отправиться в

страшный путь); но всякий раз, как били часы, мои мысли возвращались все к одному и тому же, и я спрашивал себя: а что сейчас делает он? Слышит ли он этот бой в своей камере в Ньюгетской тюрьме? Одиннадцать часов. Все это время он писал. Но вот тюремщик говорит, что хотя общество узника ему очень приятно, но он слишком устал и не в силах более составлять ему компанию. «Разбудите меня в четыре, — просит заключенный, — мне еще много чего надо написать». Между одиннадцатью и двенадцатью тюремщик слышит, как узник скрежещет во сне зубами. В двенадцать тот вскакивает и спрашивает:

«Что, пора?» Но нет, у него еще много времени, чтобы спать. И он спит, а часы продолжают бить. Ему остается еще семь часов, еще пять часов. По улицам с шумом проезжают экипажи, развозя дам, возвращающихся из гостей; холостяки плетутся домой после веселой пирушки; Ковент-Гарден<sup>3</sup> не спит, и от света его огней, проникающих сквозь тюремное окно, меркнет пламя свечи в камере заключенного. Остается еще четыре часа! «Курвуазье, — говорит тюремщик, тряся его за плечо, — четыре часа, вы сказали, вас разбудить, но за вами еще не посылали, так что можете спать». Но бедняга встает, в последний раз одевается и снова принимается писать, чтобы поведать всему миру, как он совершил преступление, за которое понесет кару. На этот раз он скажет правду, чистую правду. Из соседнего трактира ему приносят завтрак: чай или кофе и тощий бутерброд. Он ни к чему не притрагивается и продолжает писать.

Он должен написать на свою далекую родину матери, набожной старушке, которая растила и любила его и даже теперь, простив его, прислала ему свое благословение. Вот он заканчивает воспоминания и письма и переходит к завещанию, распределяя свое жалкое, ничтожное имущество, состоящее из религиозных книг и брошюр, которыми снабдили его сердобольные священники.

Он делает надписи: «На память от Франсуа-Бенжамена Курвуазье сего шестого июля 1840 года». Он приготовил подарки для своих дорогих друзей — тюремщика и помощника шерифа. Жалко наблюдать, как по мере приближения дня казни он привязывается ко всем, кто его окружает, как жадно льнет к ним, как они становятся ему дороги.

Пока в тюрьме происходят эти последние приготовления (о чем нас подробнейшим образом осведомляют отчеты, помещаемые в хро-

нике), экипаж X. останавливается у моего подъезда, и мы принимаемся за приготовленный для нас завтрак. Выпить чашку кофе в четыре часа утра всегда приятно. А тут еще X. забавляет нас, повторяя только что услышанные им от Д. остроты. Эти остроты бесподобны; должно быть, они там в клубе и в самом деле превесело провели время; затем мы с жаром принимаемся спорить, как разумнее поступать в тех случаях, когда приходится вставать так рано: вздремнуть часок-другой среди дня или перетерпеть и не ложиться спать до вечера. Тут выясняется, что поданная дичь до невозможности жесткая, даже крылышко словно деревянное; мы, разумеется, несколько разочарованы, так как ничего другого на завтрак нет.

«Не хочет ли кто-нибудь из джентльменов выпить на дорожку бренди с содовой? — предлагает кто-то. — Замечательно прочищает мозги». И, подкрепившись таким образом, мы трогаемся в путь. Кучер, успевший задремать на козлах, просыпается от шума распахиваемой двери и дико озирается по сторонам. Ровно четыре часа. Как раз сейчас они бьют несчастного — брр! «Кто хочет сигару?»

Сам X. не курит, но клянется и уверяет нас самым любезным образом, что новая шелковая обивка кареты ничуть не пострадает от табачного дыма. Тем не менее Z., который курит, предпочитает сесть рядом с кучером.

— К Сноухилл! — приказывает владелец экипажа.

На улице теперь только одни полисмены; они понимающе поглядывают на нас — им хорошо известно, что все это значит.

Как спокойны и тихи улицы; только разбуженное каретой эхо, дремавшее всю ночь где-нибудь в углу, нарушает тишину. Тротуары, словно их кто-нибудь тщательно вымел ночью, такие сухие и чистые, что не запачкали бы белых атласных туфелек. В воздухе ни дуновения, ни облачка; только дымок от сигары Z. подымается ввысь белыми чистыми клубами. Листва на деревьях скверов такая зеленая и блестящая, какая бывает только за городом в июне. Кто поздно встает, не представляет себе прелести лондонского воздуха и зелени, а между тем ранним утром этот воздух и зелень так хороши, что трудно вообразить себе что-нибудь более свежее и восхитительное. Но они не выносят дневной толчеи и сутолоки; они уже не те, что были утром, и вы не узнаете их тогда. Когда мы проезжали Грейз-Инн, я заметил на траве в садах самую настоящую росу, а на стеклах старых кирпичных массивных зданий горела зря.

Пока мы добрались до Холборна, город заметно оживился; народу на улицах стало раза в два больше, чем в каком-нибудь немецком бургe или в провинциальном английском городке. Во многих пивных уже открыли ставни, и оттуда стали выходить мужчины с трубками в руках. Вот они зашагали вдоль светлой широкой улицы, все без исключения увлекая за собой синие тени, ибо все они устремились в одном направлении и, так же как мы, спешат к месту казни.

В двадцать минут пятого мы подъехали к церкви Гроба Господня; улицы к этому времени уже запружены людьми, но еще больше народа движется по Сноухилл. И вот наконец мы у Ньюгетской тюрьмы, но еще прежде чем мы успели ее разглядеть, нам бросилось в глаза нечто столь страшное, что сердце невольно заколотилось, и мы замерли от ужаса.

Прямо перед нами, примыкая к боковой двери тюрьмы, возвышалась черная виселица, равнодушно ожидающая свою жертву. От этого зрелища вас словно ударяет током, и вы делаете судорожный вздох. Но через минуту вы приходите в себя и начинаете спокойно и не без интереса изучать находящееся перед вами сооружение. Во всяком случае, именно такое впечатление произвела виселица на автора этих строк, который стремится со всей правдивостью передать свои чувства так, как они возникали, никоим образом их не преувеличивая.

Оправившись после пережитого шока, мы смешались с толпой, к тому времени уже достаточно многочисленной, но еще не слишком плотной. Было ясно, что то дело, ради которого все собрались, еще не начиналось. Люди прохаживались, собирались в кучки, разговаривали; новички спрашивали завсегдаев о предыдущих казнях, интересовались, вешают ли приговоренного лицом к часам или к Ладгейт-Хилл, выходит ли приговоренный с веревкой на шее, или ее потом набрасывает на него Джек Кетч, не расположился ли в одном из окон лорд W., и если да, то в котором окне. Я смело решаюсь упомянуть имя достойного маркиза, ибо он не присутствовал при казни. Тем не менее кто-то из толпы указал на господина в окне напротив, утверждая, что это лорд W.; все, кто находились поблизости, тут же с любопытством и вместе с тем весьма почтительно посмотрели в указанном направлении. Казалось, толпа относилась к нему вполне доброжелательно и даже более того, — с сочувствием и некоторым восхищением. Личное мужество и сила этого достойного лорда завоевали ему симпатии простонародья. Возможно, этой популярности способ-

ствовали в какой-то степени его столкновения с полицейскими, которых толпа ненавидит так же, как дети своих учителей.

Однако в течение целых четырех часов, что мы провели у тюрьмы, толпа была настроена весьма благодушно и миролюбиво. Мы сразу же разговорились с нашими соседями. И я бы очень советовал друзьям мистера Х. — достопочтенным членам обеих палат — побольше общаться с такими вот людьми и оценить их по достоинству. Уважаемые члены парламента воюют и сражаются друг с другом, шумят, кричат, издают радостные кличи, устраивают дебаты, обдают друг друга презрением, произносят речи на три газетных столбца, завоеывая «великую окончательную победу консерваторам» или, наоборот, добиваясь «триумфа либералов». Триста десять хорошо обеспеченных джентльменов, в большинстве своем способных процитировать Горация, торжественно заявляют, что, если сэръ Роберт провалится на выборах, нация неминуемо погибнет<sup>4</sup>. С другой стороны, триста пятнадцать членов противоположной партии клянутся всем что ни есть на свете святого, что благосостояние всей империи зависит от лорда Джона, и по этому поводу они опять-таки приводят цитату из Горация. Должен признаться, что всякий раз, оказываясь в большой лондонской толпе, я с некоторым недоумением думаю о так называемых двух «великих» партиях Англии. Скажите, какое дело всем этим людям до двух великих лидеров нации. Уж не думаете ли вы, что они ликовали, подобно порядочным джентльменам, читающим «Глоб» и «Кроникл», когда лорд Стэнли взял на днях обратно свой ирландский билль; или пришли в дикий восторг, подобно уважаемым читателям «Пост» и «Таймс», когда он отделал министров? Спросите-ка вот этого оборванного парня, который, судя по всему, нередко участвовал в клубных дебатах и наделен большой проницательностью и здравым смыслом. Ему решительно нет дела ни до лорда Джона, ни до сэра Роберта<sup>5</sup>; и, да простятся мне мои непочтительные слова, он несколько не огорчится, если мистер Кетч притащит их сюда и поставит вот под этой черной виселицей. Что за дело ему и ему подобным до двух великих партий? Что ему за дело до всего этого пустого сотрясения воздуха, грязных интриг, бессмысленных громких фраз, глупейшей комедии голосования и прений, которая, чем бы она в каждом отдельном случае ни закончилась, никак не затрагивает его интересов. И такое времяпрепровождение, которое, несомненно, должно быть чрезвычайно приятно для обеих партий, длится с тех самых благословен-

ных времен, когда возникли тори и виги. И в самом деле, разве эти августейшие партии, великие рычаги, поддерживающие равновесие и обеспечивающие свободу Британии, не так же деятельны, решительны и громогласны, как в момент своего зарождения, разве они не так же, как и раньше, готовы упорно бороться за свое место. Но пока вы кричали и спорили, народ, чьим имуществом вы распоряжались, когда он был ребенком и не мог сам позаботиться о себе, рос себе помаленьку и наконец дорос до того, что сделался не глупее своих опекунов.

Поговорите-ка с нашим оборванным приятелем. Быть может, в нем нет того лоска, как в каком-нибудь члене Оксфордского и Кембриджского клуба, он не учился в Итоне и никогда в жизни не читал Горация, но он способен так же здраво рассуждать, как лучшие из вас, он умеет так же убедительно говорить на своем грубом языке, он прочитал массу самых разнообразных книг, выходявших за последнее время, и немало почерпнул из прочитанного. Он ничуть не хуже любого из нас; и в стране еще десять миллионов таких же, как он, десять миллионов, которых, от сознания нашего величайшего превосходства, мы считаем нужным опекать и которым мы, от своей беспредельной щедрости, не даем решительно ничего. Поставьте себя на их место, досточтимый сэръ.

Представьте себе на минуту, что вы и еще сто человек оказались на каком-нибудь необитаемом острове, где вы решили сформировать правительство.

Вы избираете вождя, что вполне естественно, — ведь это самый дешевый блюститель порядка. Затем вы выделяете полдюжины аристократов, потомки которых будут иметь вечную и неизменную привилегию осуществлять законодательство; еще полдюжины будут назначаться тридцатью джентльменами и, наконец, остается шестьдесят человек, которые не смогут ни выбирать, ни голосовать и у которых не будет ни положения, ни каких бы то ни было привилегий. А теперь, уважаемый сэръ, представьте себе, что вы, наделенный таким же умом, таким же сердцем и такой же благородной гордостью, как все остальные, оказались в числе этих шестидесяти, — как бы вы стали относиться к людям, во всех отношениях равным вам, в чьих руках сосредоточена вся власть и вся собственность общества? Неужели вы любили бы их и почитали, покорно признавая их привилегии и их превосходство над собой, и безропотно сносили свое полное бесправие? Если да, то вы недостойны называться мужчиной, уважаемый

сэр. Я не берусь сейчас рассуждать о том, что справедливо и что несправедливо, и не занимаюсь проблемой власти, но спросите, что думает об этом наш приятель в пиджаке с продранными локтями и без рубашки. У вас есть своя партия (будь то консерваторы или виги), вы убеждены, что аристократия есть совершенно необходимое, прекрасное и благородное установление. Иными словами, вы — джентльмены и опираетесь на свою партию.

А наш приятель руками и ногами (ибо толпа все это время становится гуще и гуще) опирается на свою. Поговорите-ка с ним о виггах и тори. Да он только усмехнется; или о достопочтенных представителях — ха-ха! Он — демократ и будет верен своим друзьям так же, как вы — своим. Но при этом не надо забывать, что его друзья — это двадцать миллионов, из которых огромное меньшинство сейчас, а в недалеком будущем — большинство станет ничуть не хуже вас, а мы тем временем все будем голосовать, дебатировать, расходиться во мнениях, и всякий день великие консерваторы или великие либералы будут одерживать все новые и новые победы до тех пор, пока...

Но какое отношение, — спросите вы, — имеет этот дерзкий республиканский выпад к повешению? Я думаю, у каждого, оказавшегося в такой огромной толпе, должны возникать подобные мысли. Сколько ума и здравого смысла у большинства из этих людей, сколько здорового юмора в замечаниях, которыми они обмениваются! Разумеется, дело не обходится без грубых выражений, от которых непременно покраснели бы наши дамы в гостиных, но при этом у них вполне твердые нравственные устои. Один оборванец из толпы (обсыпанный мукой пекарь в белом войлочном колпаке) обратился с какими-то непристойностями к стоявшей рядом женщине; наглеца тут же пристыдили и заставили замолчать, а несколько мужчин изъявили готовность вступить за женщину. Было около шести часов, толпа к этому времени стала необыкновенно плотной, со всех сторон начали давить и напирать, теснить то вправо, то влево; но вокруг женщин мужчины образовали кольцо, стараясь, насколько это возможно, уберечь их от толкотни и давки. На крыше одного из ближайших домов было устроено нечто вроде галереи. Места на нее были распроданы, и сейчас ее занимали люди самых разных сословий. Среди них находилось несколько подвыпивших повес, напоминавших Дика Суивеллера<sup>6</sup>. Один из них с грубым заплывшим лицом, в съехавшей набекрень шляпе и спутанными, сбившимися на лоб волосами развалился на освещенной

солнцем черепичной крыше и курил трубку. Этот джентльмен со своей компанией, очевидно, провел воскресную ночь в увеселительном заведении неподалеку от Коvent-Гардена. Их оргия еще не кончилась, женщины с хохотом и визгом — столь характерными для этих нежных созданий, пили вино, принимали развязные позы и то и дело усаживались на колени к своим кавалерам. Они были без шалей, и солнце играло на их белых обнаженных руках, шеях и спинах, а их плечи сверкали и переливались на солнце, как хрусталь. Толпа с нескрываемым возмущением наблюдала выходки этого пьяного сборища, и в конце концов так заулюлюкала, что те, пристыженные и испуганные, присмирели и в дальнейшем вели себя более пристойно. Тем временем окна лавочек, расположенных против тюрьмы, стали быстро наполняться народом. И наш приятель с продранными локтями, о котором говорилось выше, указал нам в одном из окон на весьма известную и модную в то время особу; к нашему удивлению, оказалось, что он осведомлен о ней не меньше, чем «Придворная газета» или «Морнинг пост». Затем он стал развлекать нас, рассказывая обстоятельно, во всех подробностях историю леди Н., отдавая должное ее дарованию и трезво оценивая ее последнюю книгу. Я знал немало джентльменов, которые не прочитали к половины того, что прочел этот честный малый, — этот пронизательный *proletaire* в черной рубашке. Товарищи его тоже вступили в разговор и выказали такую же осведомленность. Общество этих людей было не хуже любого другого, с которым нам случается то и дело сталкиваться.

Как-то во время коронации королевы мне пришлось сидеть на галерее среди весьма изысканной публики, и, должен сказать, что в отношении ума демократы ничуть не уступали аристократам. А сколько еще таких же групп, как та, что окружала нас, было в этой огромной толпе, насчитывающей, как говорили, до сорока тысяч человек? А сколько их еще во всей стране? Я уже говорил, что всякий раз, как я оказываюсь в большой толпе англичан, я испытываю одно и то же чувство и поражаюсь спокойному здравому смыслу и живому пронизательному уму народа.

Пока мы так стояли, толпа была настроена необыкновенно празднично. Тут и там раздавались шутки и взрывы веселого смеха. Несколько мужчин попытались вскарабкаться по трубе на крышу одного из домов. Но появился хозяин и стал стаскивать их вниз. В ту же минуту тысячи глаз устремились на дерущихся.

Разноголосая толпа загудела, и со всех сторон слышались отборные уличные словечки. Когда одного из карабкавшихся по трубе стащили за ногу, по темному океану толпы прокатились волны неудержимого хохота. А когда другому, наиболее ловкому, удалось ускользнуть от преследования и он, добравшись до карниза, удобно там примостился, мы все почувствовали себя счастливыми и громко выражали ему свое восхищение. Ну что, казалось бы, такого увлекательного в том, что человек лезет по трубе? Почему мы целых четверть часа с напряженным вниманием следили за этим поразительным зрелищем?

Ответить на это и в самом деле трудно: человеку и в голову не приходит, каким он может оказаться идиотом, пока для этого не представится подходящего случая, и как мало надо, чтобы его рассмешить. На днях я был у Астли: там выступал клоун в дурацком колпаке и детском фартуке, с ним было шесть маленьких мальчиков, которые изображали его одноклассников. Затем вышел их наставник, уселся верхом на клоуна и начал изо всех сил стегать его по мягкому месту. Ни Свифт, ни Боз<sup>7</sup>, ни Рабле, ни Фильдинг, ни Поль де Кок никогда не доставляли мне такого наслаждения, как это зрелище, и никогда еще я не хохотал так безудержно, как в этот раз. А почему? Почему нам бывает так смешно, когда один грубо размалеванный клоун шлепает другого по ляжкам? Что смешного в этой шутке или в описанном выше эпизоде с трубой? Вот уж поистине неисповедимы свойства человеческой души, если такие ничтожные события могут сделаться предметом созерцания и источником веселья.

Время в самом деле проходило необыкновенно быстро. Тысячи мелочей вроде только что упомянутых отвлекали наше внимание. Потом мы слышали какие-то непонятные и таинственные звуки: это рабчие что-то сколачивали у виселицы.

После чего мы увидели, как через боковую дверь внесли выкрашенную в черный цвет лестницу. Мы все посмотрели на эту небольшую лестницу и затем друг на друга — все это становилось очень занятным. Вскоре явился отряд полисменов — дюжих румяных молодцов, вид которых заставлял думать, что их неплохо кормят; все они были хорошо одеты, хорошо сложены и в удивительно хорошем расположении духа. Они прохаживались между тюрьмой и барьерами, отгораживавшими толпу от виселицы. В первых рядах, насколько я мог разглядеть, стояли всякие молодчики, народ, судя по всему, быва-

лый, встретивший появление полисменов градом насмешек и ругательств. Большинству из них можно было дать никак не больше шестнадцати — семнадцати лет, все они бледные, худосочные, низкорослые, выражение их грубых лиц было мрачным и озлобленным. Среди них я заметил девушек того же возраста; одна из них вполне могла бы послужить прототипом Нэнси<sup>8</sup> для Крукшенка<sup>9</sup> и Боза. Девушка, по всей вероятности, была любовницей какого-нибудь молодого вора, на все приставанья она отвечала очень бойко, нисколько не смущаясь и не стесняясь в выражениях; что до своей профессии и средств к существованию (о чем ее неоднократно спрашивали), — она не делала из этого секрета. И при всем том в ней было что-то привлекательное, какая-то спокойная беззаботность и простота, невольно бросающиеся в глаза. Она бойко и добродушно парировала грубые шуточки, обращенные к ней. С ней была подруга того же возраста и из той же среды, к которой она, по-видимому, была очень привязана и которая, в свою очередь, смотрела на нее, как на свою покровительницу. У обеих женщин были прекрасные глаза. У той, что поражала своей беззаботностью, были блестящие голубые глаза, удивительно свежий цвет лица, большой красный рот и ослепительно белые зубы. Все остальное было более чем некрасиво, особенно фигура, маленькая и коренастая. Ее подруге было не более пятнадцати. На них были засаленные бумажные шали и старые выцветшие шляпки, приобретенные у старьевщика. Я с любопытством разглядывал этих женщин: ведь за последнее время мы столько читали о подобных созданных во всяких модных романах. Ну и ну! Какие сказки рассказывают нам эти романисты! Боз, хорошо знающий жизнь, понимает, что его мисс Нэнси абсолютно неправдоподобный и насквозь вымышленный образ. Она так же похожа на любовницу вора, как пастушка Геснера на настоящую крестьянскую девушку. Он не осмеливается сказать правду об этих молодых женщинах. Разумеется, у них есть добродетели, как и у всех других людей, и более того — их положение порождает такие добродетели, которых нет у других женщин, но об этих добродетелях художник, правдиво изображающий человеческую природу, не вправе рассказывать; и если он не может обрисовать человеческий характер во всей его полноте, он не имеет права ограничиваться одной или двумя привлекательными чертами, а потому было бы лучше, если бы он вовсе воздержался от описания подобных личностей. Нынешняя французская литература насквозь фальшива и по большей части никуда не го-

дится именно в силу этого заблуждения — писатели делают привлекательными разных монстров и (не говоря уже о пристойности и морали) эти образы не имеют ничего общего с действительностью.

Но вот на Ньюгет-стрит, медленно продвигаясь сквозь толпу и четко выделяясь среди серой массы людей, показались экипажи шерифов. Значит, мы простояли здесь три часа. Неужели они промелькнули так быстро? Около барьеров, где мы стояли, сделалось так тесно, что не отдавить друг другу ноги стало и впрямь мудрено. Но при этом каждый мужчина со всей заботливостью старается уберечь от давки женщин, и все настроены весело и добродушно. Лавки на противоположной стороне улицы теперь набиты почти до отказа нанявшими их людьми. Тут и молодые денди с усиками и сигарами в зубах, и тихие добропорядочные семейства каких-нибудь простых и честных торговцев, взирающие на все с невозмутимым спокойствием и мирно попивающие чай. А вот и человек, которого приняли за лорда W. Он то и дело швыряет что-нибудь в толпу, а его приятель — высокий плотный господин с большими усами — раздобыл где-то пульверизатор и поливает народ бренди с содовой.

Нечего сказать, порядочный джентльмен и утонченный аристократ! Истинный любитель тонкого юмора и шутки! Я бы не поленился отмахать несколько миль, чтобы увидеть тебя и всю твою шайку дикарей где-нибудь на каторжных работах.

Мы попробовали освистать этих наглецов, но мало в этом преуспели; по-видимому, толпе их поведение не казалось таким уж оскорбительным, и даже в нашем друге, остававшемся все время подле нас, философе с продранными локтями, поступки этих небезызвестных молодых господ не вызывали такого яростного возмущения, какое, должен сознаться, переполняло мою собственную грудь. Он только заметил: «Это же лорд такой-то! Ему все позволено!» — и тут же заговорил о повешенном лорде Феррерсе. Нашему философу эта история была хорошо известна, ровно как и большинству маленького кружка людей, собравшихся вокруг него, и мне кажется, молодым джентльменам должно быть чрезвычайно лестно, что их поступки служат предметом подобных разговоров.

О Курвуазье почти все это время не упоминалось. Мы все, насколько я могу судить, находились в том расположении духа, какое бывает у людей, когда они толпятся в дверях партера перед началом спектакля, рвутся на реву или ожидают выхода лорд-мэра. Мы рас-

спрашивали стоявших поблизости, много ли они видели казней. Выяснилось, что они повидали их немало, в особенности наш друг-философ, «Насколько сильное впечатление производили на вас эти зрелища?» — поинтересовались мы. Оказалось, что люди оставались совершенно равнодушными и тут же забывали об увиденном. То же самое сказал нам и один фермер, пригнавший свое стадо в Смитфилд; он видел, как вешали человека в Йорке, и говорил об этом очень спокойно и здраво.

Я припоминаю, что у покойного Дж. С. — известного юмориста — был прекрасный рассказ о смертной казни и об ужасе, внушаемом этим зрелищем.

После того как Тислвуд и его сообщники были повешены, им по приговору должны были отсечь головы, и палач, со всей торжественностью соблюдая проформу, но мере того как он отрубал головы казненных, поднимал и показывал их толпе, приговаривая каждый раз: «Вот голова изменника!» Когда он поднял первую голову, люди оцепенели от ужаса. Отовсюду послышались возгласы испуга и отвращения. Вторую голову рассматривали с не меньшим интересом, но уже при виде третьей головы возбуждение несколько ослабело. Когда же дошла очередь до последней, палач так неловко поднял ее, что тут же выронил. «Эй, растяпа!» — завопила толпа, и от общего напряжения не осталось и следа.

Наказание превратилось в забаву. «Растяпа», — такова была народная оценка священного учреждения публичной казни и чудовищного всемогущего закона.

Был уже восьмой час; часы отбивали четверть за четвертью; толпа притихла и замерла в ожидании; мы то и дело поглядывали на башенные часы церкви Гроба Господня. Двадцать пять минут восьмого, половина восьмого. Что он делает? Кандалы с него уже сняли. Без четверти восемь. Наконец-то мы стали думать о человеке, казнь которого нам предстояло увидеть. Как медленно тянутся последние четверть часа! Те, кто еще был в состоянии поворачиваться, чтобы смотреть на часы, отсчитывали минуты: восемь минут, пять минут и, наконец, — дин-дон, дин-дон, — часы пробили восемь.

Написав эти строки, автор отложил перо и, прежде чем снова приняться писать, предался на время не слишком, как читатель может предположить, приятным мыслям и воспоминаниям. Вся эта чудовищная, отвратительная и мерзкая картина снова проходит перед его

глазами; присутствовать при ней воистину ужасно и описывать ее тяжело и мучительно.

Когда раздался бой часов, необозримая густая толпа заколыхалась и пришла в движение. Всех вдруг разом охватило неистовство, и послышался чудовищный, ни на что не похожий и не поддающийся описанию рев, какого мне еще никогда не приходилось слышать. Женщины и дети пронзительно заголосили.

Я не уверен, что различал бой часов. Скорее это был какой-то страшный, резкий, напряженный и нестройный гул, сливающийся с ревом толпы и длившийся минуты две. Виселица стояла перед нами — черная и пустая; черная цепь свисала с перекладки и ожидала своей жертвы. Никто не появлялся.

— Казнь отложили, — предположил кто-то.

— Он покончил с собой в тюрьме, — сказал другой.

В эту самую минуту из черной тюремной дверцы высунулось бледное невозмутимое лицо. Оно выделялось на черном фоне поразительно ярко и отчетливо; в следующую секунду на эшафоте появился человек в черном, за которым безмолвно следовали три или четыре человека в темных одеждах. Первый был высокий и мрачный, кто был второй — все мы знали.

— Вот он, вот он! — послышалось отовсюду, как только осужденный взошел на эшафот.

Я видел потом гипсовый слепок с головы, но ни за что бы не узнал его.

Курвуазье держался, как подобает мужчине, и шел очень твердо. Он был в черном, по-видимому, новом костюме, рубашка его была расстегнута. Руки были связаны спереди. Раз или два он беспомощно развел ладони и снова сжал их. Он огляделся вокруг. На секунду он задержался, и в его глазах выразились испуг и мольба, на губах появилась жалобная улыбка. Затем он сделал несколько шагов и стал под перекладной, обратясь лицом к церкви Гроба Господня.

Высокий мрачный человек в черном быстро повернул его и, вытащив из кармана ночной колпак, натянул его на голову заключенного, закрыв его лицо. Мне не стыдно признаться, что дальше я не мог смотреть и закрыл глаза, чтобы не видеть последнюю ужасную церемонию, препроводившую несчастную грешную душу на суд божий.

Если зрелище публичной казни благотворно, — а это, без сомнения, так и есть, — иначе мудрые законы не заботились бы о том,

чтобы сорокатысячная толпа присутствовала при казни, — то не менее полезно исчерпывающее описание этой церемонии со всем ее антуражем, для чего автор и предлагает эти страницы вниманию читателя. Что испытывает при виде этого зрелища каждый человек? С каким чувством смотрит он на происходящее, как он воспринимает все отдельные моменты этой чудовищной церемонии? Что побуждает его идти смотреть казнь и что он чувствует потом? Автор отказался от официально принятой формы «мы» и прямо и непосредственно обращается к читателю, воспроизводя каждое свое ощущение со всей честностью, на какую он только способен.

Я (ибо «я» — самое короткое и самое подходящее в данном случае слово) должен признаться, что зрелище оставило во мне чувство безмерного стыда и ужаса. У меня такое ощущение, словно я оказался соучастником чудовищной подлости и насилия, учиненных группой людей над одним из своих собратьев, и я молю бога, чтобы в Англии поскорее настали времена, когда никто более не сможет увидеть столь отвратительное и недостойное зрелище. Сорок тысяч человек всех чинов и званий — ремесленники, джентльмены, карманные воришки, члены обеих палат парламента, проститутки, журналисты — собираются ни свет ни заря перед Ньюгетской тюрьмой, отказавшись от спокойного сна ради того, чтобы принять участие в омерзительной оргии, которая действует более возбуждающе, чем вино, или последняя балетная премьера, или любое другое доступное им развлечение. Карманник и пэр в одинаковой степени захвачены этим зрелищем, и в том и в другом одинаково говорит скрытая кровожадность, свойственная роду человеческому, и правительство, христианское правительство то и дело доставляет нам это наслаждение; оно, точнее большинство членов парламента, полагает, что за некоторые преступления человек должен быть вздернут на виселицу. Правительство оставляет преступную душу на милость божью, утверждая тем самым, что здесь, на земле, человек не может рассчитывать ни на чью милость; приговоренному дают две недели на все приготовления, предоставляют священника, чтобы утрясти все вопросы по части религии (если, впрочем, на это хватит времени, ибо правительство не может ждать), и вот в утро понедельника раздается звон колокола. Священник читает из Евангелия «Я есмь воскресение и жизнь», «Господь дал и господь взял», и наконец в восемь часов утра приговоренного ставят под перекладину с накинутаю на шею веревкой, которая другим концом своим

прикреплена к перекладине; доска из-под его ног выдергивается, и те, что дорого заплатили за места, могут увидеть, как правительственный служащий Джек Кетч появляется из черной дыры и, схватив повешенного за ноги, тянет его до тех пор, пока тот не оказывается окончательно задушенным.

Многие, в том числе разные просвещенные журналисты, утверждают, что подобные разговоры не что иное, как болезненная сентиментальность, извращенное человеколюбие и дешевая филантропия, которые всякий может усвоить и проповедовать. Так например, «Обзервер», всегда отличающийся неподражаемым сарказмом и известный своей непримиримостью по отношению к «Морнинг геральд», пишет: «Курвуазье умер. Он вел подлую жизнь и умер, как подлец, с ложью на устах. Мир праху его. Мы не нападаем на мертвых». Какое великодушие! Далее «Обзервер» обращается к «Морнинг геральд»: *Fiat justitia ruat coelum*<sup>10</sup>. Но хватит о «Морнинг геральд».

Мы цитируем «Обзервер» по памяти, там говорится, вероятно, следующее: *De mortuis nil nisi bonum*<sup>11</sup>; или *Omne ignotum pro magnifico*<sup>12</sup>; или *Sero nunquam est ad bonos mores via*<sup>13</sup>; или *Ingenuas didicisse fideliter artes emoluit mores nee sinit esse feros*<sup>14</sup>; любое из этих метких древнеримских изречений может быть применено к данному случаю.

«Мир праху его, он умер, как подлец». Это звучит вполне великодушно и разумно. Но в самом деле, умер ли он подлецом? «Обзервер» не хочет тревожить его душу и тело, руководствуясь, по видимому, добродетельным желанием предоставить мир его праху. Неужели же достаточно двух недель после вынесения приговора, чтобы преступник мог раскаяться? Разве не вправе человек требовать еще неделю, еще полгода, чтобы искренне почувствовать свою вину перед тем, кто принял смерть ради всех нас? Именно ради всех, и пусть это помнят, а не только ради господ судей, присяжных, шерифов или ради палача, который тянет за ноги осужденного, но и ради этого самого осужденного, какой бы он ни был убийца и преступник и которого мы убиваем за его преступление. Но разве мы хотим убить его душу и тело? Боже избави!

Судья в черной шапочке усердно молится, чтобы небо смилостивилось над осужденным; но при этом он должен быть готов к тому, что в понедельник утром его повесят.

Обратимся к документам, которые поступали из тюрьмы от несчастного Курвуазье за те несколько дней, что прошли между вынесением приговора и приведением его в исполнение. Трудно представить себе что-либо более жалкое, чем эти записки. Вначале его показания неверны, противоречивы и лживы. Он еще не раскаялся. Его последнее показание, в той его части, где рассказывается о преступлении, кажется вполне правдивым. Но прочтите все остальное, где говорится о его жизни и о преступлениях, совершенных им в юности. О том, как «лукавый попутал меня и совратил с верного пути», и вы увидите, что это пишет душевнобольной и неполноценный человек. Страшная виселица непрестанно стоит у него перед глазами, его обуравляют ужас и раскаяние. Священник не отходит от него; ему подсывают душеспасительные брошюры; денно и ночно ему твердят о чудовищности его преступлений и убеждают раскаяться. Прочтите его последние показания. Господи, сердце надрывается, когда читаешь их. Страницы испещрены цитатами из Священного писания. То и дело встречаются обороты и выражения, заимствованные из религиозных брошюр (я совсем не хочу неуважительно отзываться об этих столь похвальных во многих отношениях изданиях), а мы слишком хорошо знаем, каким образом усваивается подобный лексикон: несчастный узник жадно впитывает и подхватывает его от неотлучно находящегося при нем священника, а потому употребляет невпопад.

Но убийство — такое чудовищное злодеяние (тут-то и возникает дилемма), что если человек убил человека, вполне естественно, что он должен и сам быть убит. Это естественно, что бы там ни говорили безмозглые филантропы. Это прекрасное слово, выражающее сущность определенного мировоззрения, и притом — христианского. Убей человека, и ты, в свою очередь, должен быть убитым, — это непреложное *sequitur*<sup>15</sup>. Можете хоть целый год рассуждать на эту тему, вам все равно будут повторять, что это естественно, а следовательно, закономерно. Кровь за кровь.

Но так ли это? Систему возмездия можно распространять *ad infinitum*<sup>16</sup>, — око за око, зуб за зуб, как гласит древний закон Моисея. Но почему (не говоря уже о том, что этот закон отменен Высшей Властью), если вы лишаетесь глаза, ваш противник тоже должен потерять глаз?

По какому праву? А ведь это так же естественно, как приговорить человека к смертной казни, и основано на том же самом чувстве.

Но, зная, что мстить не только нехорошо, но и бесполезно, мы отказались от мести во всех менее существенных случаях, и только там, где речь идет о жизни и смерти, мы еще применяем ее вопреки рассудку и христианскому учению.

Немало также говорят об ужасе, внушаемом подобным зрелищем, и мы постарались, насколько это было в наших силах, дать достаточно полное представление об этом. Честно признаюсь, что в то утро я покинул Сноухилл, испытывая отвращение к убийству, к убийству, которое было совершено у меня на глазах. Продираясь сквозь колоссальную толпу, мы наткнулись на двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет: одна из них отчаянно плакала и умоляла, чтобы кто-нибудь увел ее от этого страшного зрелища. Детей отвели в безопасное место. Мы спросили старшую, очень милостивую девочку, что привело ее сюда. Девочка многозначительно улыбнулась и ответила: — А мы пришли смотреть, как будут вешать.

Воистину милосерден закон, посылающий младенцев на лобное место и заботящийся о том, чтобы они не пропустили столь увлекательного и душеспасительного зрелища.

Сегодня двадцатое июля. И, позволю себе признаться, все эти две недели у меня перед глазами неотступно стоит лицо приговоренного, — так благотворно подействовала на меня кровавая расправа; я как сейчас вижу мистера Кетча, невозмутимо достающего из кармана веревку; и мне гадко и стыдно за свое жестокое любопытство, приведшее меня смотреть эту жестокую сцену, и я молю всевышнего избавить нас от столь позорного греха и очистить нашу землю от крови<sup>17</sup>.

## Примечания

<sup>1</sup> Статья «Как из казни устраивают зрелище» (Going to a Man Hanged) была напечатана в «Журнале Фрэзера» в августе 1840 года.

<sup>2</sup> Курвуазье Франсуа Бенжамен — лакей, убивший и ограбивший своего хозяина, лорда Уильяма Рассела. Повешен 6 июля 1840 г. На казни присутствовал и Диккенс, который видел в толпе Теккерей.

<sup>3</sup> Ковент-Гарден — район Лондона, примыкавший к территории бывшего монастыря Св. Петра. Там же помещался театр «Ковент-Гарден», имевший до 1843 г. исключительное право ставить классические драмы и трагедии.

<sup>4</sup> ...торжественно заявляют, что если сэр Роберт провалится на выборах, нация неминуемо погибнет. — Роберт Пиль (1788-1865) — консерватор — был вторично премьер-министром с 1841 по 1846 г., провел ряд реформ в либеральном духе и отмену хлебных законов. Из-за своих личных качеств внушал антипатию Теккерейю.

<sup>5</sup> Ему решительно нет дела ни до лорда Джона, ни до сэра Роберта. — Джон Рассел, первый лорд Рассел (1792-1878), английский государственный деятель, основатель партии либералов, сменил Роберта Пиля на посту премьер-министра в 1846 г.

<sup>6</sup> Дик Суивеллер — клерк из романа Диккенса «Лавка древностей».

<sup>7</sup> Боз — псевдоним Диккенса, которым он подписывал первые свои произведения.

<sup>8</sup> Нэнси — девушка из воровской шайки Феджина, любовница Билла Сайкса, который убивает ее (в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста»).

<sup>9</sup> Крукшенк Джордж (1792-1878) — английский карикатурист и иллюстратор. Многие его работы, особенно первого периода, отличались политической и социальной заостренностью. Иллюстрировал «Очерки Боза» и «Оливера Твиста». В Британском музее хранится около четырех тысяч его карикатур.

<sup>10</sup> Да свершится правосудие, хотя бы рухнуло небо (лат.).

<sup>11</sup> О мертвых хорошо иди ничего (лат.).

<sup>12</sup> Все неизвестное надо считать прекрасным (лат.).

<sup>13</sup> Никогда не поздно вступить на путь добронравия (лат.).

<sup>14</sup> Добросовестное изучение благородных искусств смягчает нравы и не позволяет им быть жестокими (лат.).

<sup>15</sup> Следствие (лат.).

<sup>16</sup> До бесконечности (лат.).

<sup>17</sup> Публичная смертная казнь была отменена в Англии в 1872 г.

## Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. К какому виду очерка относятся произведения Ч. Диккенса и У. Теккерея?
2. Определите основные темы в очерках английских писателей?
3. Выявите противоборствующие стороны в очерке Ч. Диккенса «К рабочим людям»?
4. К каким изменениям в обществе призывает очерк «К рабочим людям» Ч. Диккенса?
5. Как взаимодействуют преступление и наказание в системе правосудия в очерке Ч. Диккенса «О том, что недопустимо»?
6. Перечислите примеры злоупотреблений возможностями судебной системы в очерке Ч. Диккенса «О том, что недопустимо»?
7. Какие два способа решения социальных проблем представлены в очерке Ч. Диккенса «Некоторое сомнение во всемогуществе денег»? Охарактеризуйте отношение автора к благотворительности.
8. Каким образом сравнивается Франция и Англия в «Парижских письмах» У. Теккерея?
9. В чем состоит сатирическая направленность очерка «Польский бал» в изложении одной светской дамы» У. Теккерея?
10. Опишите отношение автора очерка «Как из казни устраивают зрелище» к смертной казни?

## Темы для семинарских занятий

### **Словесное творчество в журналистике: поэтика и эстетика создания образа в тексте.**

1. Понятие образа, его возможности и пределы применения в журналистике и художественно-публицистическом тексте.
2. Образ в публицистическом тексте (Образ ситуации. Образ действующего лица. Образ эпизода). Образ автора в публицистике. Понятие об авторском «я».
3. Документализм как ведущий метод публицистики.
4. Символ и метафора в публицистическом творчестве.
5. Сочетание рационального и эмоционально-образного начала в публицистическом творчестве.

### **Очерк как жанр журналистики**

1. Жанровые разновидности очерка: общая характеристика.
2. Очерк-портрет и его различные модификации.
3. Автор в очерке – выбор позиции и «жанровой рамки».
4. Проблемный очерк и его характеристики.
5. Исследовательский очерк и его характеристики.
6. Путевой очерк и его характеристики.
7. Приемы художественной типизации в очерке.
8. Факт и домысел в очерке.
9. Понятие о художественной условности применительно к очерку
10. Пределы и возможности авторской фантазии в очерке.

## **Жанры философской публицистики**

1. Философская публицистика: понятие, жанровые формы, место и роль в современной прессе.
2. Жанровые модификации философской публицистики.
3. Эссе как жанр философской публицистики: основные характеристики.
4. Характерные приемы эссеистики, понятие эссеистской манеры (стиля)
5. «Стиль-размышление» в жанре эссе: специфика интонации, ассоциативность.
6. Возможности выражения авторского «я» в философской публицистике.
7. Выражение авторского «я» в жанре философской притчи.
8. Выражение авторского «я» в жанре публицистического рассказа.
9. Выражение авторского «я» в жанре проповеди.

## **Жанры сатирической публицистики.**

1. Сатирическая публицистика: понятие, место и роль в журналистике.
2. Разновидности комического в культуре как основа сатирической публицистики (сатира, юмор, ирония).
3. Эмоциональность и экспрессивность выражения позиции автора в сатирических жанрах.
4. Ирония как средство публицистического воздействия в сатирических жанрах.
5. Pamфлет как жанр сатирической публицистики: понятие, особенности стиля.
6. Художественные средства памфлетистики: преувеличение, патетика обличений, гротеск.
7. Малые сатирические жанры, их общие и отличительные характеристики.
8. Мини-рецензия, афоризм, анекдот, пародия как жанры сатирической публицистики.
9. Иронический и саркастический заголовок в системе сатирических жанров публицистики.

## Список использованной литературы

1. Англия в памфлете. Английская публицистическая проза началаXVIII века. М.: Прогресс, 1987.
2. Баранова Е.А. Конвергентная журналистика: Теория и практика. М.: Юрайт, 2015.
3. Бобров А.А. Литературная работа журналиста. Саратов: Вузовское образование, 2018.
4. Ворошилов В. В. Журналистика в социально-культурной сфере. М.: КНОРУС, 2016.
5. Ибраева Г. Зарубежная журналистика. Алматы: Қазақ университеті, 2018.
6. Колосов Г.В. Поэтика очерка. М.: Наука, 1977.
7. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества М.: Аспект Пресс, 2011.
8. Мильтон Д. Ареопагитика // Корабли мысли. М.: Книга, 1980.
9. Прутков Г. В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века. М.: Аспект Пресс, 2010.
10. Прутков Г. В. История зарубежной журналистики. 1800–1929. М.: Аспект Пресс, 2010.
11. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста. М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.
12. Свифт Д. Памфлеты. М.: ГИХЛ, 1955
13. Симкин Я.Р. Сатирическая публицистика. Минск: Изд-во БГУ, 1980.
14. Стрельцов Б.В. Основы публицистики: Жанры. М.: Высшая школа,1990.
15. Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.
10. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2014.
16. Ученова В.В. Творческие горизонты журналистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.
17. Хрестоматия по истории зарубежной журналистики / Сост. Г.З. Мельницер. Тюмень, 2005.
18. Щелкунова Е.С. Публицистический текст в системе массовой коммуникации: специфика и функционирование. Воронеж: Родная речь, 2004.

*Учебное издание*

Составители:  
Ефремов Дмитрий Анатольевич,  
Лаврентьев Александр Иванович

## **ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА**

Хрестоматия

*Авторская редакция*

Подписано в печать 28.12.2023. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 11,74. Уч. изд. л. 11,95.  
Тираж 18 экз. Заказ № 2211.

Издательский центр «Удмуртский университет»  
426034, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021  
Тел.+ 7 (3412) 916-364, E-mail: editorial@udsu.ru

Типография Издательского центра «Удмуртский университет»  
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2.  
Тел. 68-57-18